СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Эта жизнь мне только снится

Я такой же, как вы, пропащий

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ БИОГРАФИИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошли воспоминания Сергея Есенина о своем детстве и юности, а также воспоминания его коллег-поэтов, друзей, знакомых. Среди них знаменитости – Блок, Маяковский, Цветаева, и менее значительные персоны, которые оставили после себя интереснейшие воспоминания о встречах с Есениным. Они приоткрывают перед нами тайну одного из самых талантливых и загадочных русских поэтов.

- С.А. Есенин
  - ○
  - ○ Сергей Александрович Есенин
  - ○ Андрей Белый
  - ○ Владимир Маяковский
  - ○ Галина Артуровна Бениславская
  - ○ Марина Ивановна Цветаева
  - ○ Максим Горький
  - ○ Николай Гурьевич Полетаев
  - ○ Александр Константинович Воронский
  - ○ Владимир Алексеевич Пяст
  - ○ Александр Александрович Блок
  - ○ Тициан Табидзе
  - ○ Иван Васильевич Грузинов
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
    - ■ 8
    - ■ 9
    - ■ 10
    - ■ 11
    - ■ 12
    - ■ 13
    - ■ 14
    - ■ 15
    - ■ 16
    - ■ 17
    - ■ 18
    - ■ 19

        - 20
        - 21
        - 22
        - 23
        - 24
        - 25
        - 26
        - 27
        - 28
        - 29
        - 30
        - 31
        - 32
        - 33
        - 34
    - Иван Васильевич Евдокимов
        -
        - В Большом Успенском переулке
        - Березовый ситец
        - «Собрание стихотворений» Есенина
        - На деревянном диванчике
        - Накануне
        - За Пять Дней
    - Георгий Феофанович Устинов
    - Надежда Васильевна Плевицкая
    - Роман Борисович Гуль
    - Глеб Васильевич Алексеев
    - Алексей Павлович Чапыгин
    - Степан Гаврилович Скиталец
    - Николай Николаевич Захаров-Мэнский
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

С.А. Есенин
Эта жизнь мне только снится

© ООО «Издательство АСТ»

Сергей Александрович Есенин
О себе

Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. – М.: Наука; Голос, 1995–2002. С. 18–20.

Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии. Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе Константинове.

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!» Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

Так протекло мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16–17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице».

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй – Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня

свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, большая дружба.

В эти же годы я поступил в Университет Шанявского, где пробыл всего 1,5 года, и снова уехал в деревню.

В Университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко.

Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.

В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.

От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции.

С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались разные духовные стихи. Дед, напротив, был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные невенчаные свадьбы.

После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось разбираться в своем укладе.

В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.

В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину.

Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах.

Октябрь 1925

Андрей Белый
Из воспоминаний о Сергее Есенине

О Есенине. Стихи и проза современных писателей. – М.: Правда, 1990.

Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовался передо мной. Еще до революции, в 1916 году, меня поразила одна черта, которая потом проходила через все воспоминания и все разговоры. Это – необычайная доброта. Необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Так он был повернут ко мне, писателю другой школы, другого возраста, и всегда меня поражала эта повышенная душевная чуткость. Таким я видел его в 1916 году. Таким я с ним встретился в 18–19 годах, таким, заболевшим, я видел его в 1921 году, и таким был наш последний разговор до его трагической кончины. Не стану говорить о громадном и душистом таланте Есенина, об этом скажут лучше меня. Об этом много было сказано, но меня всегда поражала эта чисто человеческая нота. Когда я впоследствии встречал Есенина и в нетрезвом виде, я наталкивался на тоже проявление застенчивости, но оно бывало иной застенчивостью. Я говорю о тонусе наших отношений, как о характеристической черте, как он относился к людям, когда они подходили, ну, просто с человеческими чувствами…

Расхождение с Клюевым было огромным этапом в жизни Есенина, который оставил неизгладимый след у этого юноши с чуткой и очень нежной душой.

Помнится мне, как Есенин появился в Москве. Это было весной 1918 года. Клюевщина и вот этот бытовой уклад тысячелетней деревни были за плечами. Тогда его бывшие друзья меня предупреждали, что у Есенина появились тревожные симптомы, нервная расшатанность и стала появляться, как исход, как больные искания, склонность к вину, и просили обратить внимание. Но что я мог сделать, не мог же я ходить по его следам и говорить все время, что не надо этого и не надо того. И образ Есенина стоял передо мной постольку, поскольку краска его идеологии и мотивы его поэзии менялись. Он то отходил от меня, то приближался. Я всегда в наших отношениях играл пассивную роль. Вдруг он начинал появляться, вдруг исчезал. И в исчезновении, и в появлении его всегда сопровождала та же нота необычной чуткости, деликатности, и доброты, и заботы. Он всегда осведомлялся, если у человека то-то и то-то, как он живет, – это меня всегда трогало. Помню наши встречи и в

период, когда я лежал на Садово-Кудринской. Пришел Есенин, сел на постель и стал оказывать ряд мелких услуг. И произошел очень сердечный разговор, о котором упоминать нет никакого смысла, потому что разговор человека с человеком не вспоминаем.

Вскоре потом я его встретил в Пролеткульте, где я в то время был преподавателем и в это время там жили Клычков и Есенин. У Есенина не было квартиры, и он там ютился. И очень часто, после собрания, мы собирались в общую комнату, заходили к Клычкову и видели жизнь и быт Есенина. Я, хотя человек посторонний в Пролеткульте, наблюдал эту роль развернувшихся взаимоотношений Есенина с другими, которые не всегда были мне в то время симпатичны, и должен сказать, что он ждал чего-то хорошего от лозунга «смычки с деревней», но отчаялся, этого в Пролеткульте того времени не было…

В результате случилось, что Есенин исчезает из Пролеткульта, для того чтобы потом объявиться в цилиндре. Ну, Есенин и цилиндр. Этот быт разлагающе действует на Есенина. Видя его мечущимся от одной группы к другой, я всегда на него глядел и думал: вот человек как будто чем-то подшибленный. И понятны все эти метания, все эти жесты, которые нарастали на его имени, но в чем он не был повинен. И понятно психологически, когда человека с такой сердечной жестокостью обидели, то его реакция бурная, его реакция – вызов. Я, например, видел его и в очень трезвом виде, и в очень повышенном, и очень больном. В разные периоды по-разному, то был он в полушубке, гордящимся своей крестьянской жизнью, то в цилиндре, чуть ли не в смокинге, в виде блестящего денди, но и здесь и там, и в трезвом и в повышенном состоянии он неизменно проявлял ту же деликатность. И я, глядя на него и зная его репутацию в некоторых кругах, всегда удивлялся. Что может довести Есенина до скандала – что-нибудь что-то очень грубое, что этого мягкого сторонящегося человека доводит до скандалов. Может быть, я не прав, но Есенина другого не знаю. Не видел его иным. Я видел чуткого, нежного юношу.

Я думаю, что в Есенине была оскорблена какая-то высшей степени человеческая человечность, потому что поэт, товарищи, есть наиболее социальное существо, наиболее протянутое, но только поэт – это есть существо от сердца к сердцам, и хорошо это или дурно, может быть, в этот момент во мне говорит романтика, но каждый образ, если он художественный – это итог происшедшего процесса сгорания, куда человеческая любовь входит и где в силу закона энергии переплавляется все. И как можно к этому продукту сердец относиться с точки зрения сухого

ученого. И вот наряду со всем у всех периодов, у всех народов, у всех политических кругов мало изменить социальные условия поэта. Поэт в социалистической стране только и попадает в ту атмосферу, в которую он протягивает нить, ибо он есть рупор коллектива…

Но пришло время точно определить, насколько осуществил в этой социальной области свой заказ Есенин. Несомненно: то, что создала его душистая песня, это осмыслится тогда, когда приедем к конкретизации каждого данного случая во всем и прежде всего в искусстве, потому что искусство – такой тонкий аппарат, построенный на сердцах…

Есенин является перед нами с действительно необычайно нежной организацией, и с ним нужно было только уметь обойтись. И когда он ушел из жизни, я виноват в том, что вместо того, чтобы способствовать его оздоровлению, я, можно сказать, не приложил ничего к тому, чтобы ему помочь.

1928

Владимир Маяковский
Как делать стихи?

Отрывок из статьи «Как делать стихи?» // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 358–360.

Есенина я знал давно – лет десять, двенадцать.

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

– Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

– Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной…

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

– Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

– Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задираться.

Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей… и т. д.

Небо – колокол, месяц – язык… и др.

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но

выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя родина,
Я большевик…

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник. Не молоконосной корове а-ля Сосновский, а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз.

Мы ругались с Есениным часто, кроя его главным образом за разросшийся вокруг него имажинизм.

Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.

К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых (я говорю о минимуме, который от поэта требуется) работников поэзии.

В эту пору я встречался с Есениным несколько раз, встречи были элегические, без малейших раздоров.

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина

взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья – есенинцы.

Оказалось не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

1926

Галина Артуровна Бениславская Воспоминания о Есенине

С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 49–66.

1920 г. Осень. «Суд над имажинистами». Большой зал Консерватории. Холодно и нетоплено. Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят и переругиваются из-за мест (места ненумерованные, кто какое займет). Нас целая компания. Пришли потому, что сам Брюсов председатель. А я и Яна – еще и голос Шершеневича послушать, очень нам нравился тогда его голос. Уселись в первом ряду. Но так как я опоздала и место занятое для меня захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева, перед креслами первого ряда.

Наконец на эстраду выходят. Подсудимые садятся слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и еще кто-то.

Есенина видела я в первый раз в жизни в августе или сентябре в Политехническом музее на вечере всех литературных групп. Кто-то читал стихи, и в это время появились Мариенгоф и Есенин в цилиндрах. Есенину цилиндр – именно как корове седло. Сам небольшого роста, на голове высокий цилиндр – комичная кинематографическая фигура.

Почти сразу же чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот ведь нахал какой, добро бы Шершеневич – у того хоть такая заслуга, как его голос. А этот мальчишка, поэтишка какой-нибудь. С возмущением сажусь вполоборота, говорю Яне: «Вот нахал какой».

Суд начинается. Выступают от разных групп: неоклассики, акмеисты, символисты – им же имя легион. Подсудимые переговариваются, что-то жуют, смеются. (Я на ухо Яне сообщила, что жуют кокаин; я тогда не знала, что его – нюхают или жуют.) В их группе Шершеневич, Мариенгоф, Грузинов, Есенин и их «защитник» – Федор Жиц. Слово предоставляется подсудимым. Кто и что говорил – не помню, даже скучно стало. Вдруг выходит тот самый мальчишка: короткая, нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову и стан, начинает читать.

Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган.

Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.

Думается, это порыв ветра такой с дождем, когда капли не падают на землю и они не могут и даже не успевают упасть.

Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.

Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.

Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесется неведомо куда.

Нет. Это Есенин читает «Плюйся, ветер, охапками листьев…». Но это не ураган, безобразно сокрушающий деревья, дома и все, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган».

Потом он читал «Трубит, трубит погибельный рог!..».

Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь». И через несколько минут, подойдя, уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал еще раз «Плюйся, ветер…».

Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня.

Когда Шершеневич сказал, что через полторы недели они устраивают свой вечер, где они будут судить поэзию, я сразу решила, что пойду.

Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском-полухулиганском костюме, в его позе и манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще.

А он вернулся на то же место, где сидел, и опять тот же любопытный и внимательный, долгий, так переглядываются со знакомыми, взгляд в нашу сторону. Мое негодование уже забыто, только неловко стало, что сижу так на виду, перед первым рядом.

Эти полторы недели прошли под гипнозом его стихов.

Второй вечер был в Политехническом музее. Тоже не топлено, и тоже молодая, озорная, резвая публика, тоже ненумерованные места. Первые ряды захватили те, кто пришел в 6 часов вечера, за два часа до начала.

Всего вечера я уж не помню. С этих пор на всех вечерах все, кроме Есенина, было как в тумане. Помню только, как во время суда имажинистов над современной поэзией из зала раздался зычный голос Маяковского о том, что он кое-что знает о незаконном рождении этих эпигонов футуризма (что-то в этом роде). Через весь зал шагнул Маяковский на эстраду. А рядом с ним, таким огромным и зычным, Есенин пытается перекричать его: «Вырос с версту ростом и думает, мы испугались, – не запугаешь этим». В конце вечера Сергей Александрович читал стихи, кажется, «Исповедь». Читал так же, как и первый раз. Он раньше, до «Страны негодяев», читал всегда с буйством, с порывом. <…>

В Политехническом музее объявлен конкурс поэтов.

Я и Яна ждем его с нетерпением. Пришли на вечер, заняли наши места (второй ряд, посередине).

Наивность наша в отношении Есенина не знала пределов. За кого же нам голосовать? Робко решаем – за Есенина; смущены, потому что не понимаем – наглость это с нашей стороны или мы действительно правы в нашем убеждении, что Есенин первый поэт России. Но все равно голосовать будем за него.

И вдруг – разочарование! Участвует всякая мелюзга, а Есенин даже не пришел. Скучно и неинтересно стало. Вдруг поворачиваю голову налево к входу и… внизу у самых дверей виднеется золотая голова! Я вскочила с места и на весь зал вскрикнула:

– Есенин пришел!

Сразу суматоха и переполох. Начался вой: «Есенина, Есенина, Есенина!» Часть публики шокирована. Ко мне с насмешкой кто-то обратился: «Что, вам про луну хочется послушать?» Огрызнулась только и продолжала с другими вызывать Есенина.

Есенина на руках втащили и поставили на стол – не читать невозможно было, все равно не отпустили бы. Прочел он немного, в конкурсе не участвовал, выступал вне конкурса, но было ясно, что ему и незачем участвовать, ясно, что он, именно он – первый. Дальше, как и обычно, я ничего не помню.

Я и Яна идем мимо лавки на Никитской. Прошли. Яна, взглянув в окно, увидела, что там Есенин без шапки, в костюме. Нечаянно я оглядываюсь на улице: за нами – Есенин, идет без шапки, со связкой книг. Мы несколько дней его не видели. Яну он не узнал. Пришлось знакомить вторично.

– Ну, как живете, что делаете?

И я, вероятно от смущения, отвечаю:

– Ничего, за билетами на концерты ходим.

Только когда почувствовала толчок Яниным локтем, поняла, что сморозила глупость.

Заговорили о критике. Сергей Александрович очень интересовался статьями о литературе в зарубежных газетах. Яна обещала ему доставать. Больше всего интересовался статьями и заметками о нем самом и об имажинистах вообще. Поэтому я и Яна доставали ему много газет. Я добывала в информационном бюро ВЧК, а для этого приходилось просматривать целые комплекты «Последних новостей», «Дня» и «Руля».

И с того дня у меня в «Стойле» щеки всегда как маков цвет. Зима, люди мерзнут, а мне хоть веером обмахивайся. И с этого вечера началась сказка. Тянулась она до июня 1925 года. Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль – все же это была сказка. Все же это было такое, чего можно не встретить не только в такую короткую жизнь, но и в очень длинную и очень удачную жизнь.

Как-то раз Яна достала какие-то газеты. Передали их Есенину. (Мы по-прежнему всегда ходили вместе – таким образом легче было скрыть правду наших отношений к Сергею Александровичу.) Заходим за этими газетами. Оказывается, Мариенгоф передал их Шершеневичу. Мы рассердились, так как газеты были нужны. Есенин погнал Мариенгофа к Вадиму Габриэлевичу. Потом оделся и вместе со мной и Яной пошел туда же.

Это был первый ласковый день после зимы. Вдруг всюду побежали ручьи. Безудержное солнце. Лужи. Скользко. Яна всюду оступается, скользит и чего-то невероятно конфузится; я и Сергей Александрович всю дорогу хохочем. Весна – весело. Рассказывает, что он сегодня уезжает в Туркестан. «А Мариенгоф не верит, что я уеду». Дошли до Камергерской книжной лавки.

Пока Шершеневич куда-то ходил за газетами, мы стоим на улице у магазина. Я и Яна – на ступеньках, около меня – Сергей Александрович, подле Яны – Анатолий Борисович. Разговариваем о советской власти, о Туркестане. Неожиданно, радостно и как будто с мистическим изумлением Сергей Александрович, глядя в мои глаза, обращается к Анатолию Борисовичу.

– Толя, посмотри, – зеленые. Зеленые глаза!

Но в Туркестан все-таки уехал – подумала я через день, узнав, что его нет уже в Москве. Правда, где-то в глубине знала, что теперь уже запомнилась ему.

С тех пор пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи, то в лавке, то на вечерах, то в «Стойле». Я жила этими

встречами – от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Поэтому каждый вечер был двойной радостью: и стихи, и он. <…>

Точная копия записки Сергея Александровича:

> «Юбилей Есенина.
>
> 10-го декабря исполняется 10 лет поэтической деятельности Сергея Есенина. [Союз] Всероссийский союз поэтов, группа имажинистов и [группа Росс] группа писателей и поэтов из крестьян ходатайствуют перед Совнаркомом о почтении деятельности…»

Списано с поправками, сделанными им же самим (его почерком).

Это было в декабре (может, в конце ноября) 1923 г. Сергей Александрович в «Стойле» рассказывал друзьям – 10 декабря десять лет его поэтической деятельности. Десять лет тому назад он первый раз увидел напечатанными свои вещи. Сам даже проект записки в Совнарком составил.

Придя домой, рассказывал, что Союз поэтов и пр. собираются организовать празднование юбилея. Мы (я, А. Назарова и Яна) отнеслись очень сдержанно к этой идее – мне было ясно, что у нас, как, впрочем, и на всей планете, венчают лаврами только «маститых», когда из человека уже сыплется песок. Сергей Александрович стал с раздражением доказывать свое право на чествование.

– А, да. Когда умрешь, тогда – памятники, тогда – чествования, тогда – слава. А сейчас я имею право или нет… Не хочу после смерти, на что тогда мне это. Дайте мне сейчас, при жизни. Не памятник, нет. Пусть Совнарком десять тысяч мне даст. Должен же я получать за стихи.

Наше молчаливое отношение его очень сердило. Пару дней поговорил. Потом никогда не вспоминал о своем юбилее.

В делах денежных после возвращения из-за границы он очень запутался (недаром к юбилею он именно денег ждал от Совнаркома). Иногда казалось, что и не выпутаться из этой сети долгов. Приехал больной, издерганный. Ему бы отдохнуть и лечиться, а деньги только из «Стойла». <…> По редакциям ходить, устраивать свои дела, как это писательские середняки делают, в то время он не мог, да и вообще не его это дело было.

Часто говорят про поэтов – «он не от мира сего», и при этом рисуется слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса – в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. Знаю одно – Сергей Александрович не был таким слащавым мечтателем с неземными

глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою психику на другой регистр.

Говорят, пишут, вспоминают про него – какой он был хитрый, изворотливый, как умел войти в душу всесильного редактора, издателя и пр. Но при этом забывают случаи, когда Сергей Александрович пасовал, неудачно отстаивал свои интересы, как, например, с продажей своих сочинений Госиздату, когда он, почти не глядя, собирался подписать договор и только благодаря сестре Екатерине Александровне и поэту Наседкину (в этом отношении очень практичному и бывалому) получил от Госиздата 10 тысяч вместо 6 тысяч, на которые он уже почти согласился.

Такая же история была с «Анной Снегиной» (или «Персидскими мотивами» – точно не помню). Я условилась с частным издателем И. Берлиным продать ему эту вещь за 1000 рублей. Предупредила об этом Сергея Александровича. Пришел Берлин к Сергею Александровичу и опять завел разговор об этом издании. В конце разговора предлагает за книжку не 1 тысячу рублей, а всего 600 рублей. И Сергей Александрович робко, неуверенно и смущенно соглашается. Пришлось вмешаться в разговор и напомнить о том, что уже условлено за эту вещь 1000 рублей. Тогда Сергей Александрович неопределенно заявляет:

– Да, мне все-таки кажется, что шестьсот рублей мало. Надо бы больше!

Выпроводив поскорее Берлина, чтобы переговоры о гонораре вести без Сергея Александровича, возвращаюсь в комнату.

– Спасибо вам, Галя! Вы всегда выручаете! А я бы не сумел и, конечно, отдал бы ему за шестьсот. Вы сами видите – не гожусь я, не умею говорить. А вы думаете, не обманывали меня? Вот именно, когда нельзя – я растеряюсь. Мне это очень трудно, особенно сейчас. Я не могу думать об этом. Потому и взваливаю все на вас, а теперь Катя подросла, пусть она занимается этим! Я буду писать, а вы с Катей разговаривайте с редакциями, с издателями!

Одно он знал и понимал: за стихи он должен получать деньги. Заниматься же изучением бухгалтеров и редакторов – с кем и как разговаривать, чтобы не водили за нос, а выдали, когда полагается, деньги, – ему было очень тяжело, очень много сил отнимало. <…>

Нам пришлось жить втроем (я, Катя и Сергей Александрович) в одной маленькой комнате, а с осени 1924 года прибавилась

четвертая – Шурка. А ночевки у нас в квартире – это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате – я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и еще кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатушке на разломанной походной кровати – кто-либо еще из спутников Сергея Александровича или Катя. Позже, в 1925 году, картина несколько изменилась: в одной комнате – Сергей Александрович, Сахаров, Муран и Болдовкин, рядом в той же комнатушке, в которой к этому времени жила ее хозяйка, – на кровати сама владелица комнаты, а на полу: у окна – ее сестра, все пространство между стенкой и кроватью отводилось нам – мне, Шуре и Кате, причем крайняя из нас спала наполовину под кроватью.

Ну а как Сергею Александровичу трудно было с деньгами – этого словами не описать. <…> «Прожектор», «Красная нива» и «Огонек» платили аккуратно. Но в журналы сдавались только новые стихи, а этих денег не могло хватить. «Красная новь» платила кошмарно. Чуть ли не через день туда приходилось ездить (а часто на трамвай не было), чтобы в конце концов поймать тот момент, когда у кассира есть деньги. Вдобавок не раз выдавали по частям, по 30 руб., а долги тем временем накапливались, деньги нужны в деревне, часто Сергей Александрович просил выслать. Положение было такое, что иногда нас лично спасало мое жалованье, а получала я немного, рублей 70. Всего постоянных «иждивенцев» было четверо (мать, отец и две сестры), причем жили в разных местах, родители – в деревне, сестры – в Москве, а сам Сергей Александрович – по всему СССР. <…>

Еще хуже положение было во время пребывания Сергея Александровича в Москве. Расходы увеличивались в десять раз, и мы изнемогали от вечного добывания денег. Вместе с тем было ясно, что это бремя нельзя взваливать на Сергея Александровича. Иногда бывало, у Сергея Александровича терпение лопалось, он шел сам в какую-либо редакцию, но кончалось это плачевно. Нанервничавшись от бесконечного ожидания денег или попав в компанию «любителей чужого счета», он непосредственно из редакции попадал в пивную или ресторан. В конце концов приезжал ночью пьяный и без денег. Вместе с тем уходить и оставлять его одного дома тоже было страшно: зайдет какой-нибудь из этих забулдыг или по телефону вытащит, и не знаешь, в какой пивной или где еще искать.

Правда, уже с лета 1924 года (после санатория и больницы) мы за ним не ходили, объяснив, что если раньше бегали и искали его каждый вечер по всем «святым местам», то это потому, что надо было его какими бы то ни было чудесами в целости

сохранить до санатория, а вообще так бегать – это значит вконец испортить его. И он все вожжи распустит в надежде, что Галя или Катя выручат.

В добывании денег была еще осложнявшая все сторона. Получение гонорара во многих редакциях – это не то что получение жалованья на службе: обязаны выдать такого-то числа, и все. Нет, гонорар у них выдается почти как милость, потому что, при хронической нехватке денег, любезность бухгалтера и редактора – выдать их сегодня, а не через неделю. Вот тут, если придешь и пустишь слезу, – скорее получишь. Но ни я, ни Катя не умели приходить с жалобным видом, да если бы кто-нибудь из нас и сумел, то воображаю, как Сергей Александрович, с его гордостью, был бы взбешен. А когда приходишь с независимым видом, то ох как трудно иногда выцарапать этот гонорар. Редакторов тут, конечно, винить не приходится – на их попечении слишком много более нуждающихся. И всех удовлетворить им трудно. Никогда в жизни до этого и после я не знала цены деньгам и не ценила всей прелести получения определенного жалованья, когда, в сущности, зависишь только от календаря. <…>

Сергей Александрович очень страдал от своей бездеятельности. Нечем стало жить. Много, очень много уходило и ушло в стихи, но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем. Оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели. Следовательно – только вино, от которого он тоже очень хотел бы избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами.

– Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них, я должен забывать их, иначе я не смогу писать, – не раз говорил он в ответ на рассуждения, что нельзя такое дарование губить вином.

Ясно – не мог он работать в каком-либо учреждении завом, но, думаю, многие помнят, как он носился с идеей организовать журнал, как он цеплялся за эту мысль. Помню <…>, Сергей Александрович восторженно мечтал об этом журнале. Тогда не удалось это осуществить. Есенин уже был болен, его надо было поставить на ноги, а потом привлечь к работе в каком-либо журнале. Ясно, что сам он, конечно, не смог бы организовать. Не знаю, в чем вина – в обычной есенинской неудачливости (у него всегда так складывалось, что при всяких обстоятельствах, при самой большой, иногда неправдоподобной удаче, для себя лично он получал лишь плохие и вредные результаты этой удачи). Ну так вот, в этом ли невезении вина, или вина в том, что никто из

имевших возможность поддержать его по-настоящему до конца и не заинтересовался. <…>

Конечно, большую роль сыграла здесь болезнь. Благодаря обостренному восприятию он осознал и благодаря этому же не мог спокойно разобраться, «где нас горько обидели по чужой и по нашей вине». Вот эти границы чужой и собственной вины смешались. Ему надо было помочь разобраться, и был бы выход из тупика, и было бы чем жить.

Взять хотя бы те краткие периоды, когда он попадал в руки Вардина, Ионова, Чагина. Не важны их какие-либо сверхчеловеческие достоинства, важно твердое осознание, при котором можно было говорить с Сергеем Александровичем. Хотя бы Вардин. Он при всей узости его взглядов дал Сергею Александровичу очень много. Благодаря ему Сергей Александрович попробовал посмотреть на мир другими глазами, отбросив свою личную обиду. Такое же влияние было со стороны Ионова – его горение заставило Сергея Александровича над чем-то в нашей общественной жизни задуматься (он его натолкнул на «Поэму о 36»). Чагина я не видела, но чувствуется, что он тоже как-то вовлекал Сергея Александровича в общественную струю.

Зато, к большому сожалению, влияние Воронского было часто отрицательным. Задерганный Лелевичем, Родовым и прочими «напостовцами», и по ряду других причин, он сам довольно пессимистически смотрел на окружающее. Бодрые фразы и унылые мысли. Но что Воронскому – здорово, то Есенину – смерть. Нельзя было давать Сергею Александровичу прикасаться к этой унылости. Воронский этого не понимал. Не понимал, что Есенина борьба мужиков с господами могла воодушевлять. А всякую борьбу после революции он принимал как обиду – ведь после революции, по его представлению, все должно идти гладко. Поэтому товарищеские и полуоткровенные беседы Воронского действовали на Сергея Александровича угнетающим образом. После них он опять начинал вопить об обидах, о «напостовцах», захвативших русскую литературу и хозяйничающих в ней.

Надо сказать, что «политическую ориентацию» (как выразился он один раз, ругая Катю: «Никакой у тебя политической ориентации нет», – это в связи с историей с «Октябрем») ему мог дать только мужчина. Было у него в психике чисто мужицкое – самая умная женщина час должна потратить, чтобы убедить его в чем-либо, мужчине же достаточно сказать несколько фраз, и Сергей Александрович скорее согласится. Бывали случаи, что Анна Абрамовна Берзина при всем ее красноречии не могла объяснить того, что Вардин сухим, чуждым Есенину языком растолковывал в пять минут. <…>

После заграницы Дункан вскоре уехала на юг (на Кавказ и в Крым). Не знаю, обещал ли Сергей Александрович приехать к ней туда. Факт то, что почти ежедневно он получал от нее и Шнейдера телеграммы. Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может трагедии. Все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму: «Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин».

Дал прочесть мне. Я заметила – если кончать, то лучше не упоминать о любви и т. п. Переделал: «Я люблю другую. Женат и счастлив. Есенин». И послал.

Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок (а Сергей Александрович жил уже на Брюсовском), не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграмм из Крыма: «Писем, телеграмм Есенину не шлите. Он со мной, к вам не вернется никогда. Надо считаться. Бениславская».

Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой целое утро. Еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе, и если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание, и только. Но, к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моем существовании не знала. Поэтому телеграмма, по рассказам, вызвала целую бурю и уничтожающий ответ: «Получила телеграмму, должно быть, твоей прислуги Бениславской. Пишет, чтобы писем и телеграмм на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю. Изадора».

Сергей Александрович сначала смеялся и был доволен, что моя телеграмма произвела такой эффект и вывела окончательно из себя Дункан настолько, что она ругаться стала. Он верно рассчитал, что это последняя телеграмма от нее. Но потом вдруг испугался, что она по приезде в Москву ворвется к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня.

– Вы ее не знаете, она на все пойдет, – повторял он. <…>

Близился срок возвращения Дункан. Сергей Александрович был в панике, хотел куда-нибудь скрыться, исчезнуть. Как раз в это время получил слезное письмо от Клюева – он, мол, учитель, погибает в Питере. Сергей Александрович тотчас укатил туда. Уезжая, просил меня перевезти все его вещи с Богословского ко мне, чтобы Дункан не вздумала перевезти их к себе, вынудить

таким образом встретиться с ней. Я сначала не спешила с этим. Но как-то вечером зашла Катя. По обыкновению начав с пустяков, она в середине разговора ввернула, что завтра приезжает в Москву Дункан. Мы решили сейчас же забрать вещи с Богословского, и через час они были здесь. В четверг приехали Сергей Александрович с Клюевым и Приблудный из Петрограда. В дальнейшей истории с Дункан немалую роль сыграл опять тот же Клюев. Поэтому сначала о нем.

О Клюеве от Есенина я слышала самые восторженные отзывы. Ждала, правду сказать, его приезда с нетерпением.

Вошел «смиренный Миколай», тихий, ласковый, в нашу комнату и в жизнь Есенина. С первой минуты стал закладывать фундамент хороших отношений. Когда я вышла, сообщил Сергею Александровичу свое впечатление: «Вишневая», «Нежная: войдет – не стукнет, выйдет – не брякнет». Тогда я это за чистую монету принимала. На «Сереженьку» молился и вздыхал, только в отношении к Приблудному вся кротость клюевская мигом исчезла. К Приблудному проникся ревнивой ненавистью. И Приблудный, обычно доверчивый, Клюеву ни одного уклона не спускал, злобно высмеивал и подзуживал его, играя на больных струнах. Спокойно они не могли разговаривать, сейчас же вспыхивала перепалка, до того сильна была какая-то органическая антипатия. А Сергей Александрович слушал, стравливал их и покатывался со смеху. <…>

Сначала я и Аня Назарова были очарованы Клюевым. Почва была подготовлена Сергеем Александровичем, а Клюев завоевал нас своим необычным говором, меткими, чисто народными, выражениями, своеобразной мудростью и чтением стихов, хотя и чуждых внутренне, но очень сильных. Впрочем, он всю жизнь убил на совершенствование себя в области обморачивания людей. И нас, тогда еще доверчивых и принимавших все за чистую монету, нетрудно было обворожить. Мы сидели и слушали его, почти буквально развесив уши. А стихи читал он хорошо. Вместо обычного слащавого, тоненького, почти бабьего разговорного тембра, стихи он читал каким-то пророческим «трубным (как я называла) гласом». Читал с пафосом, но это гармонировало с голосом и содержанием. Его чтение я, вероятно, и сейчас слушала бы так же, как и тогда.

Пришла Катя, поздоровалась и вышла в кухню. Я и Аня пошли к ней. «Что это за старик противный, отвратительный такой», – спросила нас. (Внешность Клюева – лабазник лоснящийся, прилизанный, носил вылинявшую ситцевую синюю рубаху с заплатой во всю спину – прибеднивался для сохранения стиля.) Мы на Катю зашикали, сказали, что она маленькая, еще

ничего не понимает, объяснили, что это сам Клюев. Она полюбопытствовала поглядеть его еще, но свое мнение о нем не изменила.

Уже через несколько дней мы убедились, что непосредственное чутье ее не обмануло. Действительно, отвратительным оказался он. Ханжество, жадность, зависть, подлость, обжорство, животное себялюбие и обуславливаемые всем этим лицемерие и хитрость – вот нравственный облик, вот сущность этого, когда-то крупного, поэта. Изумительно сказал про него Сергей Александрович: «Ты душу выпеснил избе (т. е. земным благам), но в сердце дома не построил».

В чем дело, почему в Клюеве умерло все остальное человеческое (не может быть, чтобы никогда и не было), осталась только эта мерзость и ничего человеческого? Быть может, прав Сергей Александрович: «Клюев расчищал нам всем дорогу. Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла». Быть может, потому, несмотря на брезгливое и жалостное отношение, несмотря на отчужденность и даже презрение, Сергей Александрович не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему «смиренного Миколая», хотя и хотел этого. Быть может, из благодарности, что не пришлось ему, Есенину, бороться с этим отвратительным оружием, ханжеством и притворством, в руках; что благодаря Клюеву не испоганилась вконец и его душа, а что эта борьба коверкала душу – это и Сергей Александрович сам по себе почувствовал, об этом не раз он с болью вспоминал в последние годы, когда стал подводить итоги, когда понял, что нет ничего дороже, как прожить жизнь «настоящим», «хорошим», когда видел в себе, что все это гнусное все же не захлестнуло подлостью душу, и с детской радостью и гордостью говорил: «Я ведь все-таки хороший. Немножечко – хороший и честный». И не случайно в конце сказаны им слова:

Жить нужно легче, жить нужно проще…

Только тогда пришел к сознанию, что все-таки слишком много крутил, слишком много сил отдано на борьбу за «суету сует».

И на самом деле Сергей Александрович по существу был хорошим, но его романтика, его вера в то, что он считал добром, разбивались о бесконечные подлости окружавших и присосавшихся к его славе проходимцев, пройдох и паразитов. Они заслоняли Есенину все остальное, и только, как сквозь туман, сквозь них виделся ему остальной мир. Иногда благодаря этому туману казалось, что тот остальной мир и не существует. И он с детской обидой считал себя со своими хорошими порывами

дураком. И решал не уступать этому окружению в хитрости и подлости. И почти до конца в нем шла борьба этих двух начал – ангела и демона. А «повенчать розу белую с черною жабой» он не сумел, для этого надо очень много мудрости, ее не хватило. <…>

Только я приехала из Крыма (22 сентября 1924 г.), как Соня Виноградская рассказала, что Есенин сдал «Песнь о великом походе» в журнал «Октябрь»; все возмущены его поступком, смотрят на это как на предательство, тем более что сейчас как раз ведется поход против Воронского, которого, вероятно, снимут из «Красной нови».

– Понимаешь, и в такой момент Есенин дал одну из своих крупных вещей «Октябрю». Конечно, ему многие руки не подадут, – сказала С. Виноградская.

До отъезда я знала, что «Песнь» восторженно встретил отдел массовой крестьянской литературы Госиздата. И вещь была продана туда. Группу журнала «Октябрь» Сергей Александрович ненавидел, его иногда буквально дрожь охватывала, когда этот журнал попадал ему в руки. Травля «Октябрем» «попутчиков» приводила Сергея Александровича в бешенство, в бессильную ярость. Не раз он начинал писать статьи об этой травле, но так и не кончал, так как трудно было писать в мягких тонах, резкую статью не было надежды опубликовать. В чем же дело, как «Песнь» могла попасть в этот журнал? Катя рассказала следующее: Сергей Александрович продал «Песнь» отделу массовой литературы. Все переговоры велись главным образом через Анну Абрамовну Берзинь. Одновременно «Октябрь» стал просить поэму для помещения в октябрьском номере. Сергей Александрович колебался. Было очень много разговоров, но согласие не было дано. Однажды он послал в Госиздат Катю за деньгами к Анне Абрамовне. Она получила больше, чем предполагал Сергей Александрович. <…> А причиной было то, что деньги из «Октября» через Анну Абрамовну были выданы в виде аванса за поэму. Поскольку часть денег была уже потрачена, нельзя было сейчас же вернуть их (денег в тот момент у Сергея Александровича не было ни копейки). Кроме того, одно дело не дать им поэму, а другое – взять ее обратно. Это означало идти на скандал, объявить открытую войну. У Сергея Александровича не хватило бы нервов. А он сам в это время понимал, что ему надо их укреплять и беречь. Кое-какие угрозы «Октябрем» были даны. Сергей Александрович мучился, но потом, закрыв глаза, смирился, получил деньги и уехал на Кавказ. Больше всего энергии на получение поэмы для «Октября» было затрачено Анной Абрамовной. <…>

Узнав обо всем этом, я долго ломала голову, как исправить случившееся. Но хороший способ трудно было найти. Написала о создавшемся положении Сергею Александровичу на Кавказ. Но, очевидно, он махнул рукой, тем более что на Кавказе, вдалеке от Москвы, он понял цену всему этому литературному политиканству. Непосредственно на мое письмо не ответил, но кое-что есть в его письме от 20 декабря 1924 года: «Разбогатею, пусть тогда покланяются. Печатайте все где угодно. Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная – я сам».

Но с тех пор при всем своем уважении и расположении к Анне Абрамовне Сергей Александрович всегда был с ней настороже. <…>

Через неделю после пореза руки, когда было ясно, что опасности никакой нет, я обратилась к Герштейну с просьбой, запугав Сергея Александровича возможностью заражения крови, продержать его возможно дольше. И Герштейну удалось выдержать Сергея Александровича в больнице еще две недели. Вообще в Шереметевской больнице было исключительно хорошо, несмотря на сравнительную убогость обстановки. Там была самая разнообразная публика, начиная с беспризорника, потерявшего ногу под трамваем, кончая гермафродитом, ожидавшим операцию. Сергей Александрович, как всегда в трезвом состоянии, всеми интересовался, был спокойным, прояснившимся, как небо после слякотной, серой погоды. Иногда появлялись на горизонте тучи, после посещения Сергея Александровича его собутыльниками, кажется, умудрявшимися приносить ему вино даже в больницу. Тогда он становился опять взбудораженным, говорил злым низким голосом, требовал, чтобы его скорей выписывали.

Заботы Анны Абрамовны не прекратились и в Кремлевской больнице. Она часто навещала, прекрасно умела занять Сергея Александровича, развеселить его. По выходе из Кремлевской больницы она же настояла, чтобы Сергей Александрович переехал на квартиру к Вардину, где он, разумеется, стеснялся пить по-прежнему и откуда Вардин, со своей кавказской прямотой, как хозяин квартиры легко выставлял всех литературных собутыльников Есенина и прощелыг. Как сейчас помню, Вардин попросил дать ему список всех собутыльников, собирался принять меры, каким бы то ни было способом выслать их из Москвы, и во всяком случае, в его квартиру им было невозможно попасть. <… > Вардин же, несмотря на узость его взглядов, благотворно подействовал на Сергея Александровича в смысле определения его «политической ориентации». Во время пребывания у Вардина

было написано стихотворение «Письмо матери», явившееся началом цикла трезвых, здоровых стихов. Здесь вообще была здоровая атмосфера. Тяготило Сергея Александровича только одно: ему все казалось, что с ним возятся, надеясь сделать из него «казенного» советского поэта. Но хорошее отношение к Вардину у него осталось навсегда. Даже в письме с Кавказа к Кате, упоминая, что с Вардиным ему не по пути, он отзывался о Вардине как о прекрасном человеке. <…>

После заграницы Сергей Александрович почувствовал в моем отношении к нему что-то такое, чего не было в отношении друзей, что для меня есть ценности выше моего собственного благополучия. Носился он со мной тогда и представлял меня не иначе как: «Вот, познакомьтесь, это большой человек» или «Она – настоящая» и т. п. Поразило его, что мое личное отношение к нему не мешало быть другом; первое я почти всегда умела спрятать, подчинить второму. И поверил мне совсем. «Другом» же представил меня и Сахарову. Сахаров, очевидно, тогда же решил, что лучше отстранить меня. До сих пор он себя считал единственным другом.

Помню, осенней ночью шли мы по Тверской к Александровскому вокзалу. Так как Сергей Александрович тянул нас в ночную чайную, то, естественно, разговор зашел о его болезни (Есенин и Вержбицкий шли впереди). Это был период, когда Сергей Александрович был на краю, когда он иногда сам говорил, что теперь уже ничто не поможет, и когда он тут же просил помочь выкарабкаться из этого состояния и помочь кончить с Дункан. Говорил, что если я и Аня его бросим, то тогда некому помочь и тогда будет конец. <…>

Через несколько дней я с Сергеем Александровичем всю ночь разговаривала. Говорили на самые разные темы. Я стала спрашивать о Дункан, какая она, кто и т. д. Он много рассказывал о ней. Рассказывал, как она начинала свою карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу. Говорил также о своем отношении к ней:

– Была страсть, и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом все прошло и ничего не осталось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь… Боже мой, какой же я был слепой, где были мои глаза. Это, верно, всегда так слепнут.

Рассказывал, какие отношения были. Потом говорил про скандалы, как он обозлился, хотел избавиться от нее и как однажды он разбил зеркало, а она позвала полицию. <…>

– А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на ее погибшего сына. В ней вообще очень много

нежности.

Во время этого разговора я решила спросить, любит ли он Дункан теперь. Может быть, он сам себя обманывает, а на самом деле мучится из-за нее. <…> Когда я сказала, что, быть может, он, сам того не понимая, любит Дункан и, быть может, оттого так мучается, что ему в таком случае не надо порывать с ней, он твердо, прямо и отчетливо сказал:

– Нет, это вовсе не так. Там для меня конец. Совсем конец. К Дункан уже ничего нет и не может быть, – повторил опять. – Да, страсть была, но все прошло. Пусто, понимаете, совсем пусто.

Я рассказала ему все свои сомнения.

– Галя, поймите же, что вам я верю и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасаться оттуда надо, а не толкать меня обратно. <…>

Когда Сергей Александрович переехал ко мне, ключи от всех рукописей и вообще от всех вещей дал мне, так как сам терял эти ключи, раздавал рукописи и фотографии, а что не раздавал, то у него тащили сами. Он же замечал пропажу, ворчал, ругался, но беречь, хранить и требовать обратно не умел. Насчет рукописей, писем и прочего сказал, чтобы по мере накопления все ненужное в данный момент передавать на хранение Сашке (Сахарову):

– У него мой архив, у него много в Питере хранится. Я ему все отдаю.

С Сашкой он считался, как ни с кем из друзей, верил ему и его мнению. Вскоре, отобрав все, что можно было сдать в «архив», я отдала Сахарову. Но когда я хотела это сделать в следующий раз, Сергей Александрович сказал, что больше Сахарову ничего не давать и, наоборот, от Сашки надо все забрать и привезти сюда.

Надо сказать, что в отношении стихов и рукописей распоряжения Есенина были для меня законом. Я могла возражать ему, стараясь объяснить ту или иную ошибку, но если Сергей Александрович не соглашался с возражениями, то я всегда подчинялась и слепо исполняла его распоряжения. <…>

Исключительные нежность, любовь и восхищение были у Сергея Александровича к беспризорникам.

Это запечатлелось в стихотворении «Русь бесприютная».

Характерный штрих. Идем по Тверской. Около Гнездниковского восемь-десять беспризорников воюют с Москвой. Остановили мотоциклетку. В какую-то «барыню», катившую на лихаче, запустили комом грязи. Остановили за колеса извозчика, задержав таким образом автомобиль. Прохожие от них шарахаются, торговки в панике, милиционер беспомощно гоняется за ними, но он один, а их много. «Смотрите, смотрите, – с радостными глазами кричит Сергей Александрович, – да они все

движение на Тверской остановили и никого не боятся! Вот это сила! Вырастут – попробуйте справиться с ними. Посмотрите на них: в лохмотьях, грязные, а все останавливают и опрокидывают на дороге. Да это ж государство в государстве, а ваш Маркс о них не писал». И целый день всем рассказывал об этом государстве в государстве.

2 ноября 1925 г., 8 часов вечера.
– Галя, приезжайте на Николаевский вокзал.
– Зачем?
– Я уезжаю.
– Уезжаете? Куда?
– Ну, это… Приезжайте. Соня приедет.
– Знаете, я не люблю таких проводов. <…>

1926

Марина Ивановна Цветаева
Нездешний вечер

Отрывок из очерка «Нездешний вечер» // Цветаева М.И. Избранные сочинения в 2 т. Т. 2. Автобиографическая проза. Воспоминания. Дневниковая проза. Статьи. Эссе. – М.: «Литература»; СПб. «Кристалл»,1999.

<…> Вас очень хочет видеть Есенин – он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько… вольно. Вы не рассердитесь?

Испуганно молчу.

– Не бойтесь, это просто – смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу: на банкетке – посреди комнаты – вы с Лёней, обнявшись[1].

Я:

– Что-о-о?!

Он, невозмутимо:

– Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Лёнин черный затылок и ваш светлый кудрявый. Много я видел поэтов – и поэтесс – но все же, признаться, удивился…

Я:

– Это был Есенин!

– Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки.

– Да, но Есенин в голубой рубашке, а я…

– Этого, признаться, я не разглядел, да из-за волос и рук ничего и видно не было.

* * *

Лёня, Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты.

Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы – на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту…. (Мысленно и медленно обхожу ее: Лёнина черная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, курча, есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. Приятно, когда обратно – и так близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы).

После Лёни осталась книжечка стихов – таких простых, что у меня сердце сжалось: как я ничего не поняла в этом эстете, как этой внешности – поверила. <…>

Потом – читают все. Есенин читает «Марфу Посадницу», принятую Горьким в «Летопись» и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную – народного гнева. – «Как московский царь – на кровавой гульбе – продал душу свою – Антихристу…» Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим, это Milchgesicht (бледноликий отрок, лицо цвета молока *(нем.)*, это оперное «Отоприте! Отоприте!» – этот – это написал? – почувствовал? (С Есениным я никогда не перестала этому дивиться.) Потом частушки под гармошку, с точно из короба, точно из ее кузова сыплющимся горохом говорка:

Играй, играй, гармонь моя!
Сегодня тихая заря,
Сегодня тихая заря, —
Услышит милая моя.

Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…

Пьяны ему цензура переменила на рьяны, ибо в Царском Селе пьяных уланов не бывает – только рьяные! <…>

Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы. И еще другой критик, которого зовут Лаурсаб Николаевич. Помню из читавших еще Константина Ляндау из-за его категорического обо мне, потом, отзыва – Ахматовой. Ахматова: – Какая она? – О, замечательная! – Ахматова, нетерпеливо: – Но можно в нее влюбиться? (Понимающие мою любовь к Ахматовой – поймут.)

Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется – Городецкий. Многих – забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева – на войне.

Читал весь Петербург и одна Москва. <…>

1936

Максим Горький
Сергей Есенин

С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 49–66.

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который каким-то случаем попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году, где встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати-семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял ночью на Симеоновском и видел, как он сквозь зубы плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по

лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он – человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее – серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит – что именно забыто им.

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

– Тоже поэт, – сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню – было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали…

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
…Дорогая, я плачу,
Прости… прости…

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно – под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще всё: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза – всё было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

– громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои…
Хор-рошие…

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – думаю – и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

– Если вы не устали…

– Я не устаю от стихов, – сказал он и недоверчиво спросил: – А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» (слова С. Н. Сергеева-Ценского. – Примеч. ред.), любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать.

– Куда-нибудь в шум, – сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

– Очень хороши рошен, – растроганно говорила она. – Такой – ух! Не бывает…

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

– Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно было назвать «музыкой для толстых».

– Настроили – много, а ведь ничего особенного не придумали, – сказал Есенин и сейчас же прибавил: – Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

– Короткие слова всегда лучше многосложных, – сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

– Вы думаете, мои стихи – нужны? И вообще искусство, то есть поэзия – нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше – Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

– Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

– Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль: там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

– Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А – вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

1926

Николай Гурьевич Полетаев
Есенин за восемь лет

Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

С. Есенин

С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 294–300.

Даже на фоне нашей неповторимой эпохи четко выделялась эта красивая, блестящая фигура – Сергей Есенин. Где бы он ни появлялся, он обращал на себя общее внимание, к нему невольно приковывался взгляд, и он оставался в памяти надолго, если не навсегда. Может быть, сожженный этой своей красотой и славой – и погиб он.

В первый раз я встретил Есенина в 1918 году в Пролеткульте на литературном собеседовании в нарядной гостиной морозовского особняка. Кого только не перебывало на этих собеседованиях! Рядом с седовласым поэтом Вячеславом Ивановым – молодой пекарь Федор Киселев, против угрюмого Александровского – восторженный, жестикулирующий Андрей Белый, Казин, Орешин, Шершеневич. Все они называли друг друга «товарищ». Только В. Иванову да Белому делались иногда исключения: называли их по имени-отчеству. Не помню, кто читал стихи, когда вошел Есенин. Я ни разу не видел его прежде и сразу был поражен его видом. Как ни типичны были все другие фигуры, на нем прежде всего у всякого остановились бы и застыли глаза.

Он был одет в шелковую белую вышитую длинную русскую рубаху и широкие штаны. Костюм сельского пастушка с картины восемнадцатого века. Да и сама наружность его: волосы цвета спелой ржи, как будто кипевшие на точеной красивой голове, пышные, волнистые; черты лица тонкие, почти девичьи; голубые глаза, блестевшие необычной улыбкой. Думалось – как мог появиться здесь такой человек в годы пулеметной трескотни, гудящих аэропланов, голодного пайка? Я решил, что, наверное, это артист, пришел читать чьи-нибудь стихи, но, нечаянно услышав фамилию Есенин, я подумал: «А как он все-таки похож на свои стихи!» Но и первое мое предположение, как я потом убедился, было верно: в этом большом, глубоко волнующем

поэте, на редкость искреннем, были черты театральности.

В этот же вечер Есенин прочел нам несколько своих стихотворений, из которых мне запомнились «Зеленая прическа» и «Вот оно, глупое счастье». Читал он необычайно хорошо. В Москве он читал лучше всех. Недаром молодые поэты читали по-есенински:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Возможно ли было в четырех строчках нарисовать полнее картину вечера, дать этой картине движение, настроение. «Березка» его так и звенела в ушах звоном осеннего прощального ветра. В этом юноше – ему тогда было двадцать три года – мы сразу увидели большого мастера. Нечего и описывать наши удивление и восторг. Когда вечером я возвращался домой с одним старым восторженным коммунистом, он беспрерывно повторял мне:

– Подумайте только, какая сила прет из рабочей и крестьянской среды: Александровский, Казин и, наконец, такая красота – Есенин!

Познакомившись с Есениным, я узнал, что он живет тут же, в Пролеткульте, с поэтом Клычковым, в ванной комнате купцов Морозовых, причем один из них спит на кровати, а другой – в каком-то шкафу на чем-то, для спанья совсем не пригодном. Чем они жили, довольно трудно было сказать, – тогда и все-то неизвестно на какие средства жили, но были веселы и стихи писали, как никогда.

В этом же году я был в гостях у одного студийца Пролеткульта, куда был приглашен и Есенин. Семья, к моему величайшему тогда изумлению, оказалась буржуазной: богатая обстановка, рояль, дочь с высшим музыкальным образованием. Есенин к такому обществу и такой обстановке, казалось, уже давно привык и держался свободно, как избалованный ребенок. По просьбе хозяев он довольно охотно читал стихи, те же самые, что и в Пролеткульте, и, странное дело, за чайным столом их приятнее было слушать. Дочь хозяев очень долго и хорошо играла нам на рояле, причем Есенин особенно просил играть Вертинского. На мое удивление, что ему нравится в Вертинском, он сказал:

– Вот странно – нравится, да и все!

На вопрос дочери хозяина, нет ли у него нот на его

собственные стихи, он беззаботно отвечал:

– Мне подарил N (он назвал одного известного и модного композитора) ноты, но они где-то запропастились.

Обычно говорил он мало, отрывистыми фразами, стараясь отвечать более жестами и улыбкой красивых глаз, в которой больше было любезности и блеска, чем ласки и внимания. Видно было, что эта обстановка, эти люди были привычны для него и нимало его не удивляли. Одет он был на этот раз в костюм, как всегда хороший, что называется – с иголочки. Помню, я все удивлялся: крестьянский сын, двадцати всего лет, – и уже он известный поэт, он небрежно теряет ноты известного композитора, сочиненные на его стихи, он снисходительно любезно обращается с барышнями с высшим музыкальным образованием. Мы возвращались из гостей вместе: я – в свое молчаливое, как могила, Дорогомилово, он – в ванную купцов Морозовых. А кругом была вьюга, на тротуарах непроходимые горы снега. Было все непонятно и хорошо. Был восемнадцатый год. Ели мерзлую картошку, но голову не вешали. Говорили мы с ним о литературе. Я спросил его, чем он сейчас больше всего интересуется.

– Изучаю Гоголя. Это что-то изумительное!

Есенин даже приостановился, а потом неподражаемо прочел несколько гоголевских фраз из описаний природы. Он, видимо, затруднялся объяснить красоту того или другого выражения и старался передать ее мне голосом, интонацией, жестами, всеми средствами своего мастерского чтения. Вся его театральность куда-то исчезла. Передо мною вырос человек, до самозабвенья любящий красоту русского слова. <…>

Кафе поэтов «Домино». В нем были два зала: один для публики, другой для поэтов. Оба зала в эти года, когда все и везде было закрыто, а в «Домино» торговля производилась до двух часов ночи, были всегда переполнены. Здесь можно было разного рода спекулянтам и лицам неопределенных профессий послушать музыку, закусить хорошенько с «дамой», подобранной с Тверской улицы, и т. д. Поэты, как объяснил мне потом один знакомый, были здесь «так, для блезиру», но они, конечно, этого не думали. Наивные, они и не подозревали, как за их спиной набивали карманы содержатели всех этих кафе, да поэтам и деваться было некуда. Спекулянты и дамы их, шикарно одетые, были жирны, красны, много ели и пили. Бледные и дурно одетые поэты сидели за пустыми столами и вели бесконечные споры о том, кто из них гениальнее. Несмотря на жалкий вид, они сохранили еще прежние привычки и церемонно целовали руки у своих жалких подруг. Стихи, звуки – они все любили до глупости.

Вот обстановка, в которой в 1919 году царил С. Есенин. Нас, молодых, выдвигавшихся тогда поэтов из Пролеткульта, пригласили читать стихи в «Домино». Есенин тогда гремел и сверкал, и мы очень обрадовались, узнав, что и он в этот вечер будет читать стихи. Он стоял, окруженный неведомыми миру «гениями» и «знаменитостями», очаровывая всех своей необычной улыбкой. Характерная подробность: улыбка его не менялась в зависимости от того, разговаривал ли он с женщиной или с мужчиной, а это очень редко бывает. Как ни любезно говорил он со всеми, было заметно, что этот «крестьянский поэт» смотрел на них как на подножие грядущей к нему славы. Нервности и неуверенности в нем не было. Он уже был «имажинистом» и ходил не в оперном костюме крестьянина, а в «цилиндре и в лакированных башмаках». Я полюбил его издалека, чтобы не обжечься. В этот вечер он сделал очередной большой скандал.

Когда мои товарищи читали, я с беспокойством смотрел на них и на публику. Они робели, старались читать лучше и оттого читали хуже, чем всегда, а публика, эта публика в мехах, награбленных с голодающего населения, лениво побалтывала ложечками в стаканах дрянного кофе с сахарином и даже переговаривалась между собой, нисколько не стесняясь. Мне пришлось читать последнему. После меня объявляют Есенина. Он выходит в меховой куртке, без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит:

– Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к …! Спекулянты и шарлатаны!..

Публика повскакала с мест. Кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывали «чеку». Нас задержали часов до трех ночи для проверки документов. Есенин, все так же улыбаясь, веселый и взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоняя голову «бычком» (поза дерущегося деревенского парня), странно, как-то по-ребячески морщил брови и оттопыривал красные, сочные красивые губы. Он был доволен. <…>

Когда этот «скандалист» работал – трудно было себе представить, но он работал в то время крепко. Тогда были написаны лучшие его вещи: «Сорокоуст», «Исповедь хулигана», «Я последний поэт деревни…».

В публике существует мнение, что поэта сгубили имажинисты. Это неверно. Я с Казиным, Санниковым или Александровским часто заходил к имажинистам и сравнительно хорошо их знаю. Правда, это были ловкие и хлесткие ребята. Они открыли (или за них кто-нибудь открыл) кафе «Стойло Пегаса»,

открыли свой книжный магазин «Лавка имажинистов» и свое издательство. К стихам они относились чисто с формальной стороны, совершенно игнорируя их содержание. Но повлиять на Есенина они не могли. <…>

Все эти два или три года Есенин продолжал работать, часто скандалил, но, кажется, не пил. Захожу я как-то в «Лавку имажинистов». Есенин, взволнованный, счастливый, подает мне, уже с заготовленной надписью, свою только что вышедшую книжку «Исповедь хулигана». Я тут же залпом прочитываю ее, с удивлением смотрю на этого человека, шикарно одетого, играющего роль вожака своеобразной «золотой молодежи» в обнищалой, голодной, холодной Москве и способного писать такие блестящие, глубокие стихи.

– Знаешь, Полетаев, уже на немецкий, английский и французский перевод есть! Скоро пришлют – и с деньгами! – говорит Есенин с мальчишеской, хвастливой улыбкой.

А я не могу оторваться от книги. Я уже не здесь, в голодной Москве, я там – в есенинской деревне, как будто он какой волшебной силой перенес меня туда.

– Зачем ты даже в такие стихи вносишь похабщину? – говорю я.

Он долго нескладно убеждает меня, что это необходимо, что это его стиль. Возмущенный, говорю ему, что все «выверты» и все «скандалы» его – только реклама – и ничего больше. Он утверждает, что реклама необходима поэту, как и солидной торговой фирме, и что скандалить совсем не так уж плохо, что это обращает внимание дуры-публики.

– Ты знаешь, как Шекспир в молодости скандалил?

– А ты что же, непременно желаешь быть Шекспиром?

– Конечно.

Я не мог спорить, я сказал, что если Шекспир и стал великим поэтом, то не благодаря скандалам, а потому, что много работал.

– А я не работаю?

Есенин сказал это с какой-то даже обидой и гордостью и стал рассказывать, над чем и как усиленно он сейчас работает.

– Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать.

Это была правда. Работал он неустанно. <…>

Помню Есенина в начале его славы. Его выступления в Политехническом музее. Политехнический музей был в то время средоточием литературной жизни Москвы. Он заменял поэтам и публике книги, журналы – все. Поэты, числом до шестидесяти, выступали здесь. Поэты всяких направлений, всяких фасонов, всяких школ. И, надо сказать, Есенин был здесь первым. Есенин

был в самом расцвете. Вещи одна одной лучше выходили из-под его пера. И читал он великолепно – правда, немного театрально, но великолепно, чудесно читал! Как сейчас вижу его: наклонив свою пышную желтую голову вперед «бычком», весь – жест, весь – мимика и движение, он тщательно оттенял в чтении самую тончайшую мелодию стиха, очаровывая публику, забрасывая ее нарядными образами и неожиданно ошарашивая похабщиной.

Он рос. Критик В. П. Полонский уже тогда на докладах в Доме печати называл его великим русским поэтом. Есенин уже не терпел соперников, даже признанных, даже больших. Как-то на банкете в Доме печати, кажется, в Новый год, выпивши, он все приставал к Маяковскому и чуть не плача кричал ему:

– Россия моя, ты понимаешь, – моя, а ты… ты американец! Моя Россия!

На что сдержанный Маяковский, кажется, отвечал иронически:

– Возьми, пожалуйста! Ешь ее с хлебом!

Кто-то из публики пренебрежительно сказал:

– Крестьянин в цилиндре!

В это время он долго и упорно работал над «Пугачевым». <…>

Последняя встреча. Я был на одном литературном вечере, кажется – «Никитинские субботники», когда вдруг с испугом говорят, что на вечер врывается и скандалит пьяный Есенин. Я сейчас же вышел. Есенин был, как мне показалось, трезвый, с Казиным, и пригласил меня в «Стойло Пегаса». Помню, мы сидели там до закрытия, слушали цыганский хор. После закрытия мы всю ночь ходили по Тверской. <…> Говорили мы в ту ночь, конечно, о том, что нам было и есть всего дороже, – о стихах.

Я с удовлетворением отозвался о некоторых последних его вещах.

– Ага! Ты наконец понял! Погоди, я скоро еще не то напишу!

Затем он, по обыкновению, стал говорить, что Россия, вся Россия – его, а не моя и не Казина, а тем более не Маяковского. Я «уступил» ему Россию. Он плакал, мы целовались. Я смутно, но понимал, что ему больно, что в нем что-то творится, что-то происходит, а что?..

С нами был какой-то человек, не литератор, но близкий приятель Есенина.

– Куда ты сегодня спать пойдешь? – спросил он Есенина.

– А, право, не знаю! – как бы раздумывая, ответил Есенин. – Пойдем хоть к тебе.

– Да разве у тебя своей квартиры нет? – спросил я.

– А зачем она мне? – просто ответил Есенин.

«Беспризорный Есенин», – подумал я.

1926

Александр Константинович Воронский
Памяти Есенина (Из воспоминаний)

Отрывок из статьи «Как делать стихи?» // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 358–360.

Осенью 1923 года в редакционную комнату «Красной нови» вошел сухощавый, стройный, немного выше среднего роста человек лет двадцати шести – двадцати семи. На нем был совершенно свежий, серый, тонкого английского сукна костюм, сидевший как-то удивительно приятно. Перекинутое через руку пальто блестело подкладкой. Вошедший неторопливо огляделся, поставил в угол палку со слоновым набалдашником и, стягивая перчатки, сказал тихим, приглушенным голосом:

– Сергей Есенин. Пришел познакомиться.

Хозяйственный и культурный подъем тогда еле-еле намечался. Люди еще не успели почиститься и приодеться. Поэтам и художникам жилось совсем туго, как, впрочем, живется многим и теперь, и потому весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось: правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты, а на щеках слишком открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил, веки же припухли, бирюза глаз была замутнена, и оправа их сомнительна. Образ сразу раздвоился: сквозь фатоватую внешность городского уличного повесы и фланера проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное: один облик подчеркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другим, словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца дней своих не только по внешности, но и в остальном.

Есенин рассказал, что он недавно возвратился из-за границы, побывал в Берлине, в Париже и за океаном, но когда я стал допытываться, что же он видел и вынес оттуда, то скоро убедился, что делиться своими впечатлениями он или не хочет, или не умеет, или ему не о чем говорить. Он отвечал на расспросы

односложно и как бы неохотно. Ему за границей не понравилось, в Париже в ресторане его избили русские белогвардейцы, он потерял тогда цилиндр и перчатки, в Берлине были скандалы, в Америке тоже. Да, он выпивал от скуки, – почти ничего не писал, не было настроения. Встречаясь с ним часто позже, я тщетно пытался узнать о мыслях и чувствах, навеянных пребыванием за рубежом: больше того, что услыхал я от него в первый день нашего знакомства, он ничего не сообщил, и потом, Фельетон его, помещенный, кажется, в «Известиях», на эту тему был бледен и написан нехотя. Думаю, что это происходило от скрытности поэта.

Тогда же запомнилась его улыбка. Он то и дело улыбался. Улыбка его была мягкая, блуждающая, неопределенная, рассеянная, «лунная».

Казался он вежливым, смиренным, спокойным, рассудительным и проникновенно тихим. Говорил Есенин мало, больше слушал и соглашался. Я не заметил в нем никакой рисовки, но в его обличье теплилось подчиняющее обаяние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягченное и твердое.

Прощаясь, он заметил:

– Будем работать и дружить. Но имейте в виду: я знаю – вы коммунист. Я – тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я – по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет.

Он сказал это улыбаясь, полушутя-полусерьезно.

Еще от первого знакомства осталось удивление: о нетрезвых выходках и скандалах Есенина уже тогда наслышано было много. И представлялось непонятным и неправдоподобным: как мог не только буйствовать и скандалить, но и сказать какое-либо неприветливое, жесткое слово этот обходительный, скромный и почти застенчивый человек!

Недели через две я принимал участие в одной писательской вечеринке, когда появился Есенин. Он пришел, окруженный ватагой молодых поэтов и случайно приставших к нему людей. Он был пьян, и первое, что от него услыхали, была ругань последними, отборными словами. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он – лучший в России поэт, что все остальные – бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен, и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил. Он оскорблял первых подвернувшихся под руку, кривлялся, передразнивал, бил посуду. Вечер был сорван. Писатель, читавший свой рассказ, свернул рукопись и безнадежно махнул рукой. Сразу обнаружилось много пьяных, как будто

Есенин с собой принес и гам и угар. Кое-кто поспешил одеться и уйти. Тщетно пытались выпроводить Есенина. Но кто-то предложил уговорить поэта читать стихи. Есенин с готовностью взобрался на стул, произнес сначала заносчивую, бессвязную, бахвальную «речь», а потом начал читать «Москву кабацкую». Он читал на память, покачиваясь, осипшим и охрипшим от перепоя голосом, скандируя и растягивая по-пьяному слова. Но это было мастерское чтение. Есенин был одним из лучших декламаторов в России. Чтение шло от самого естества, надрыв был от сердца, он умел выделять и подчеркивать ударное и держал слушателей в напряжении. Больше же всего поражало на том вечере, что он вопреки своему состоянию ничего не забыл, не спутался, не запнулся. Память ни разу не изменила ему. Неоднократно я убеждался и позже, в последующие годы, что стихи он мог читать в самом нетрезвом состоянии почти всегда без запинок и заминок. Только в самые последние месяцы, незадолго до конца, он как будто стал сдавать. Но, может быть, это происходило оттого, что читал он еще не вполне отделанные вещи.

Окончив чтение, Есенин снова забуянил.

Пил он еще дня два. За это время к обычным протоколам милиции прибавился новый.

Морозной зимней ночью, кажется, у «Стойла Пегаса» на Тверской, я увидал его вылезающим из саней. На нем были цилиндр и пушкинская крылатка, свисающая с плеч почти до земли. Она расползалась, и Есенин старательно закутывался в нее. Он был еще трезв. Пораженный необыкновенным одеянием, я спросил:

– Сергей Александрович, что все это означает и зачем такой маскарад?

Он улыбнулся рассеянной, немного озорной улыбкой, просто и наивно ответил:

– Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире. – И расплатившись с извозчиком, прибавил: – Очень мне скучно.

Он показался мне капризным и обиженным ребенком.

Любимым прозаиком его был Гоголь. Гоголя он ставил выше всех, выше Толстого, о котором отзывался сдержанно. Увидев однажды у меня в руках «Мертвые души», он спросил:

– Хотите, прочту вам место, которое я больше всего люблю у Гоголя? – и прочитал наизусть начало шестой главы первой части.

Напомню главу в отрывке и с пропусками:

«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то

деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, – любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности, – все останавливало меня и поражало…

…Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!..»

Эти слова из Гоголя, думается, могли бы служить лучшим эпиграфом ко всему написанному Есениным.

Очень ценил он Клюева и считал себя его учеником. Из молодых прозаиков я удержал в памяти высокую оценку вещей Всеволода Иванова. Как будто больше всего ему у него нравилось «Дитё» и «Цветные ветра».

Иронически Есенин рассказывал о Гиппиус и Мережковском. В первые годы своей поэтической деятельности он посещал их литературные вечера.

– Попал я как-то к ним на вечер в валенках. Ко мне подошла Гиппиус и спросила:

– Вы, кажется, в новых гетрах?

– Нет, это – простые деревенские валенки… – Знала ведь, что на мне валенки…

О технике в поэзии Есенин отзывался в последние годы неодобрительно и враждебно:

– Знаем мы все эти штуки. Они думают, что все эти формальные приемы и ухищрения нам неизвестны. Не меньше их понимаем и в свое время обучились достаточно всему этому. Писать надобно как можно проще. Это трудней.

Его «простое» мастерство было высоким. Поэтический лексикон Есенина с первого взгляда незатейлив и даже беден, но проследите, что он делает в своих стихах с черемухой, с садом, с березкой: они у него всегда наши, родные и всегда выглядят по-иному. Даже избитое, шаблонное и трафаретное освежалось у него напором чувств и подкупающей искренностью.

Ранней весной 1925 года мы встретились в Баку. Есенин собирался в Персию: ему хотелось посмотреть сады Шираза и подышать воздухом, каким дышал Саади. Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку, в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном с чужих плеч пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищенные,

может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрился. Друзей, бережно и любовно относившихся к нему, у него было довольно. Жил он у тов. Чагина, следившего за его лечением, но показался в те дни одиноким, заброшенным, случайным гостем, неведомо зачем и почему очутившимся в этом городе нефти, копоти и пыли, словно ему было все равно куда приткнуться и причалить.

Мы расстались на набережной. Небо было свинцовое. С моря дул резкий и холодный ветер, поднимая над городом едкую пыль. Немотно, как древний страж веков, стояла Девичья башня. Море скалилось, показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неприютен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает.

На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

– У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.

Он плакал больше часа.

«Пусть вся жизнь за песню продана» – это из последних его стихов.

Озорное в нем было. Только в обычном, то есть в трезвом состоянии оно походило на остроумную шутку. Рассказывают, что совсем незадолго до своей смерти он навестил своего старого приятеля. Заметив теплящуюся перед иконами лампадку, он вынул папиросу и, не найдя спичек, попросил разрешения прикурить от «божьего огонька». Хозяин предложил ему этого не делать и ушел зачем-то в другую комнату, возможно, за спичками. Есенин поднялся, прикурил от лампадки, а потом попросил своего знакомого, с которым пришел, потушить ее:

– Вот увидишь – не заметит, честное слово. Это он так, задается.

Приятель возвратился и в самом деле не заметил, что лампадка потушена.

В одно из более ранних посещений он принес ему же в подарок… живого петуха.

Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов:

«Ну да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил». И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал «Интернационал», а в Париже стал издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными «шестерками». И там и здесь его били.

Некоторые шутки его в последнее время были странны и непонятны. Явившись как-то ко мне навеселе, он принес с собой пачку коробок со спичками, бросил их на стол и сказал, улыбаясь:

– Иду и думаю: чего бы купить в подарок. Понимаешь, оказывается, воскресенье, все закрыто. Вот нашел на лотке только спички, бери – пригодятся. Или лучше: отдай своей дочурке, пусть поиграет.

Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму.

О нашем «мужичке» он иногда говорил с хитрецой и с намеками: не так, мол, просто, товарищи коммунисты: около мужичка вам придется попыхтеть да попыхтеть, не все у вас с ним благополучно. Возвратившись из родной деревни, он жаловался, что город обижает деревню: за сапоги и несколько аршин мануфактуры и за налоги идет весь урожай. Обижают крестьян и местные власти. Он собирался идти к М. И. Калинину искать заступы. Но основное впечатление было иное: после этой поездки Есенин некоторое время ходил притихший и как будто потерявший что-то в родимых краях.

– Все новое и непохожее. Все очень странно.

Впрочем, об этом лучше рассказал сам поэт в своих стихах.

В последние два года Есенин все собирался поехать в деревню и как следует пожить там. Он знал, что болен, и казалось, что болезни своей он серьезно боялся. Он тосковал по простой и несложной жизни, по простым людским отношениям и простым вещам. Хорошо бы заняться житейским, обычным, каждодневным, явственным и ощутимым, чтобы был сад, липы, разговоры о сенокосе, об урожае, чтобы был вечер тихий и благостный. Или уехать куда-нибудь, в Ленинград, что ли, и зажить по-новому, работать регулярно, заняться журналом, романом, повестью, сидеть дома, изредка видеться с друзьями. У него был замысел – написать повесть в восемь-десять листов.

Тема – уличные мальчики бездомные и беспризорные, дети-хулиганы. Однажды он показал мне несколько листков из этой повести, правда, было всего две-три страницы, но через некоторое время Есенин сознался, что «не пишется» и «не выходит».

Писатель Никитин сказал в личном разговоре: «Сережа жил в последнее время с зажмуренными глазами, зажмурившись, он пьянствовал и скандалил». Это очень верно и метко. Он часто жмурился, особенно в нетрезвом состоянии.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое.
Чтоб подумать на миг об ином.

Это «иное» было простое, интимное, личное, а кругом было сложное, запутанное, общественное и далекое. И он знал, что возврата нет. Когда его убеждали по-серьезному взяться за лечение, он с неизменной своей улыбкой ссылался на то, что вот ему нужно подготовить для Госиздата собрание своих сочинений и тогда он возьмется как следует за лечение. Потом оказалось, что никакой серьезной работы над этим собранием он не проделал. И в отговорки свои он едва ли верил.

Перед последним отъездом в Ленинград я спрашивал его по телефону, зачем он едет туда, но внятного ответа не получил. Правда, он был нетрезв.

О самоубийстве со мной Есенин никогда не вел разговора. Я думал, что жить Есенину оставалось мало, но никогда не предполагал, что он может наложить на себя руки: он очень любил жизнь. Надо еще раз сказать, что Есенин был очень скрытен.

Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества. И еще: передают – и это проверено, – что в гостинице «Англетер», перед своей смертью, он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле. Но лучше об этом не думать, ибо кто знает, что скрывалось у Есенина за этой манией преследования и что это была за болезнь.

Мы, критики, сплошь и рядом не умеем или еще не научились синтетически воссоздавать образ художника, поэта, писателя. Мы аналитически рассекаем цельное, неповторимое, индивидуальное на отдельные части. Образ Есенина двоится. Было два Есенина. Есть разные стороны, есть сложные и противоречивые черты в его поэтическом облике, о них писалось и говорилось довольно. Но в конце концов, был «един жив

человек», жил поэт, как конкретная личность, вмещавший в себе разные свойства и этапы своего творчества. И когда встает этот **живой** Есенин, становится более понятным и влияние его, и прелесть его стиха, и то, что им зачитывались, и его заучивали, и ему подражали. В чем тайна успеха и чарования его стиха? Они ведь – о гибели, о роковом, о кабацком, об уходящем, они – об одиноком поэте, который чувствовал себя в Руси советской ненужным иностранцем! Но мы знаем старых испытанных коммунистов: в промежутки меж деловыми заседаниями, в краткие, свободные от напряженной, сухой и прозаической работы часы они находили время прочитать очередные стихи поэта. Или и им сродни были кабацкие, роковые настроения умершего? Не похоже. Возможно, что искать объяснений успеха надобно в есенинской простоте, в песенности, в искренности, в лиризме, в народности его стихов, в силе его таланта. Да, и в этом, но не только в этом. Так в чем же? Стихи Есенина – самые биографичные. Живая человеческая личность поэта в них отражена полностью. Сверяешь личность поэта, как она проступает сквозь словесную ткань его произведений, с житейским Есениным, и образы совпадают, переживаешь одно и то же основное настроение, и становится понятным, в чем сила его стиха. Трогала и подчиняла в стихах Есенина любовь ко всему, «что душу облекает в плоть», – к земному, к тому, что мы забываем, что удаляется от нас в грохоте, в суете, в городской сутолоке и чего нет среди камня и асфальта. Недаром так трогательно писал поэт о зверях и так хорошо их чувствовал: «для зверей приятель я хороший» – и не обмолвка, что он назвал как-то свои стихи «песней звериных прав». Велика положительная сила города, нашего железного века. Пусть скрежет и лязг больших городов уничтожает одурь, застой и печаль наших полей, но и в железной нашей эпохе есть искривленное, однобокое, угрожающее, темное и зловещее. И вот бывает так: мы, дети города и века, как птицы время от времени жадно стремимся покинуть «изогнутые улицы», не слышать трамвайного лязга, мы ищем забраться подальше в глубь, в глушь, в тишь наших полей, зеленей, лугов и лесов. А в стихах Есенина луга, поля и зеленя встают во всем своем «диком и простом убранстве», в подчиняющей и покоряющей обольстительности, и мы понимаем и принимаем тоску поэта. Честь и место, особливо у нас в России, чугуну и стали, пару и электричеству, но никогда не следует забывать, что это не цель, а лишь средство, не человек для субботы, а суббота для человека. Есть первозданное, неоспоримое, непреложное, основное – могучие инстинкты и соки жизни. Они трансформируются, изменяются с каждой эпохой, но

горе тому, кто посягнет на их права и законы. Сталь и бетон и яблочкин огонь – для них, для их торжества, расцвета и счастья. Борьба за них. Социализм для них. Вставшая во весь свой рост человеческая личность – это они, силы и соки жизни, освобожденные от пут. Но самое тревожное в современной цивилизации то, что вместо непосредственных людских отношений она ставит вещный и идеологический фетишизм, любовь к вещам и к призракам. Служение вещам и идеям застилает непосредственное общение между людьми. А человеку – таковы его инстинкты – нужно прилепиться не к мечте, не к призраку, не к вещи, не к стиху, а прежде всего к живому, конкретному собрату, его ощущать, ему помогать и ради него работать. Только в пролетариате есть зародыши этих поруганных и попранных **прямых** общественных отношений, которые полностью расцвесть могут лишь в развернутом коммунистическом обществе. Есенин с его кругозором, определившимся в юности узкой личной средой деревни, с его интимным лиризмом должен был со всей остротой почувствовать в новой обстановке тоску по этому прямому общению и содружеству человека с человеком. Ему надо было трудиться, творить, чтобы наглядно было видно: вот это нужно живым, во плоти людям, и от них его инстинкт, его прошлое требовали то же. Ему надо было заботиться о живом и чтобы заботились о нем. Современный город, который он, Есенин, знал, этого ему не дал и не мог дать. Он надломился. В стихах и поэмах, в жизни и в участи и в конце поэта, в его образе и поэтическом и жизненном, есть нежное и хрупкое, тонкое и трогательное, обреченное и любимое, как в его красногривом жеребенке, – есть предупреждение и знамение против темного и зловещего в современной однобокой городской цивилизации. И это роднит с ним многих, чуждых кабацким и озорным настроениям поэта. И потому нам дорог его образ, и потому этот образ долговечен. Конец каждого человека переживается по-особому. Смерть Есенина пробуждает великое чувство, которое источает мать, сестра, брат и в котором сказано: «Глас в Раме слышан бысть: Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо нет ей утешения». В Раме российской его проводили, как свое дитя, родное и любимое.

«Красная новь», книга 2, февраль 1926 г., с. 207–214

Владимир Алексеевич Пяст
Встречи с Есениным

С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 93–96.

<…>

Осень 1923 года я провел в Москве и под Москвой и когда прочел о выступлении в ЦЕКУБУ на Пречистенке группы крестьянских поэтов (Есенин, Клюев и Ганин), решил на этот вечер пойти. Всех троих исполнителями своих стихотворений слышал я тогда впервые, о Ганине же и вообще ничего не слыхал. От этого вечера в памяти остались: колоритная фигура в длинном зипуне (Клюев) – и еще ярче – кудрявая есенинская голова, с выражением несколько сонным, и его правая рука, в двух пальцах которой была зажата папироска и которою он как бы дирижировал своему музыкально модулирующему инструменту (голосу).

В такой позе он читал с эстрады постоянно. В этот раз он, может быть, еще не читал тех своих (напечатанных гораздо позднее) стихов, которые производили сильное впечатление на многих впоследствии (впоследствии слышал от него эти стихи и я), стихов о предчувствуемой поэтом близкой своей смерти:

Положите в русской рубашке
Под иконы меня умирать.

Не стихи Есенина, вообще, запечатлелись в моей памяти ярче всего из того вечера, нет – а его импровизованная речь, с которой он неожиданно обратился к «ученой» (в большинстве) публике. Речь вот какая, настолько же неожиданная, насколько приятно прозвучавшая моему слуху. Речь – о Блоке.

– Блок, – говорил молодой поэт, предводитель послефутуристических бунтарей, – к которому приходил я в Петербурге, когда начинал свои выступления со стихами (в печати), для меня, для Есенина, был – и остался, покойный, – главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что только есть на свете.

(Я стараюсь передать смысл и стиль речи Есенина точно; эти слова врезались в память, хотя вся речь была бессвязна, как принято выражаться – гениально-косноязычна.)

– Разве можно относиться к памяти Блока без благоговения? Я, Есенин, так отношусь к ней, с благоговением.

– Мне мои товарищи были раньше дороги. Но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся.

– Да, я не участвовал в этом вечере и сказал им, моим бывшим друзьям: «Стыдно!» Имажинизм ими был опозорен, мне стыдно было носить одинаковую с ними кличку, я отошел от имажинизма.

– Как можно осмелиться поднять руку на Блока, на лучшего русского поэта за последние сто лет!

Вот смысл и стиль застенчивой, обрывистой, неожиданной (не связанной ничем с программою вечера) речи Сережи Есенина. Чувствуя всю ее искренность, я полюбил молодого поэта с тех пор. Она прозвучала в унисон с опубликованною мною весной 1922 года в журнале «Жизнь искусства» статьею «Кунсткамера», где я отплевывался, так сказать, от московских поэтов гуртом за тот исключительно гнусный вечер «Чистосердечно о Блоке!» – афиши о котором висели тогда на улицах Москвы. Имена участников этого паскудства я не предам печати на сей раз; достаточно знаменит за всех них Герострат, в психологии коего дал себе сладострастный труд копаться один, крепко теперь, по счастью, забытый, русский стихотворец.

А вот что Есенин пылал таким негодованием по поводу этого вечера – это значительно, важно; это очень характерно для quasi[2] хулигана. Кстати, неужели непонятно, что не может быть «шарлатаном» (есенинское слово!) тот, который себя таким объявляет!

Один мой приятель, бывший со мною на том же «крестьянском» вечере в ЦЕКУБУ, так описывает свои впечатления (в письме ко мне после смерти поэта):

«У Есенина был франтоватый вид. Костюм и шляпа с заграничным шиком – и под шляпой слегка помятое, точно невыспавшееся слегка, простецкое русское лицо с милой добродушно-рассеянной улыбкой. По-приятельски, но без фамильярности улыбается каждому. Каждому готов сказать «ты», но иногда брови сдвигаются и он очень важен, важен, как молодая мать, прислушивающаяся к движению внутри себя зачинающейся новой значительной жизни». Это очень верно. Русский народ так и называет оленьих самок – «важенками». В Сергее Есенине было нечто «ланье», как за девятнадцать лет до того в юном Андрее Белом.

А вот и другое выступление Есенина в ту же пору – в «Стойле Пегаса». Предоставляю слово тому же письму:

«Помните кафе «Пегас»? У Есенина свое особое там было место – два мягких дивана, сдвинутых углом супротив стола, стульями отгороженного от публики. Надпись: «Ложа Вольнодумцев». Это все еще они, «орден имажинистов», как окрестили себя его друзья, от которых он уже, несомненно, хоть и незаметно, но вполне удаляется. Есенин много пьет. Всех угощает. Вокруг него кормится целая стая юных, а теперь и седеющих, и обрюзгших уже птенцов. Это всё «пишущие» – жаждущие и чающие славы или уже навсегда расставшиеся с ней.

Вот он опять на эстраде. Замолкают столики. Даже официанты прекращают суетню и толпятся, с восторгом, в дверях буфетной. Он читает знаменитые стихи, где просит положить его под русские иконы – умирать. Голос срывается. Может быть, навсегда! Это предчувствие. Все растроганы и тяжело дышат. А вот он внезапно встает и через всю залу идет к незнакомому с ним поэту, известному импровизациями, сидящему в стороне. Об этом поэте, за его спиной, но достаточно громко был «пишущими» послан гнусный, ни на чем не основанный слух. Есенин подходит, опирается на его стол руками, вглядывается в него и говорит: «С таким лицом подлецов не бывает!» Обнимает, целует его, и вот – еще одно сердце, завоеванное им навеки».

В Ленинграде, в Городской думе, летом 1924 года был я свидетелем триумфа волшебства есенинской поэзии. <…> Начав пение своих стихотворений, срывался, не доводил иных до конца, переходил к новым. Но мало-помалу столь естественные при данных обстоятельствах крики возмущения и иронические замечания публики становились все реже. По мере того как поэт овладевал собою (влияние волшебства творчества!) все более, он перестал забывать свои стихи, доводил до конца каждое начатое. И каждое обжигало всех слушателей и зачаровывало! Все сразу, как-то побледневшие, зрители встали со своих мест и бросились к эстраде и так обступили, все оскорбленные и завороженные им, кругом это широкое возвышение в глубине длинно-неуклюжего зала, на котором покачивался в такт своим песням молодой чародей. Широко раскрытыми неподвижными глазами глядели слушатели на певца и ловили каждый его звук. Они не отпускали его с эстрады, пока поэт не изнемог. Когда же он не мог уже выжать больше ни звука из своих уст – толпа схватила его на руки и понесла, с шумными восклицаниями хвалы, – вон из зала, по лестнице вниз, до улицы.

На следующий день или, может быть, через день я утром пошел к Сергею Есенину в гости – выразить свое восхищение и посоветоваться об издателях. Он жил у названного Сахарова, бывшего издателя, которого в это время в городе не было. Жили

они в прекрасной, «довоенной» квартире со всей сохранившейся обстановкой особняков на Набережной. В первых комнатах меня встретили «имажинята» последнего призыва. Черноволосые мечтательные мальчики, живущие, как птицы небесные, не заботящиеся о завтрашнем дне. <…> Помню радушную встречу и вкусный завтрак с чаем, приготовленный на всю братию и сервированный с некоторым кокетством, то есть с салфетками, вилками, ножами, скатертью.

После завтрака все отправились в Госиздат. В это лето я был свидетелем и того, как в Госиздате, только что получив небольшую сумму в счет собрания стихотворений, Есенин сунул половину ее – рублей 35 – в руку одного своего товарища, в то время и болевшего, и непечатавшегося. Это позволило последнему совершить неблизкий путь на родину.

Наконец, в это же лето плавали мы с Есениным и другими писателями на специально зафрахтованном Союзом писателей пароходе в Петергоф. Надо ли рассказывать, как оба рейса – туда и обратно – поэты и беллетристы сменяли друг друга на рубке, читая свои произведения. Как, с каким восторгом встречались и провожались публикой, заплатившей по два рубля за прогулку в среде «писателей у себя»? Надо ли говорить, что ничей успех при этом нельзя было и сравнить с покорявшим всех есенинским? Только еще ученик и продолжатель Сережи юный Ив. Приблудный привел публику тоже в большой восторг, но не столько своими стихами, как артистическим темпераментом, умением быть «душою общества».

Жалею, что в следующую осень, когда Есенин снова приехал к нам, случая увидеться с ним я не имел. Никогда не предполагал, что «петергофский рейс» будет нашим последним на земных морях совместным плаванием.

Александр Александрович Блок
Из дневников, записных книжек и писем

Отрывок из статьи «Как делать стихи?» // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986.

9 марта 1915 г.

<…>

Днем у меня рязанский парень со стихами.

Крестьянин Рязанской губ… 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915[3].

Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его.

Ваш А. Блок[4]

P. S. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу[5]. Посмотрите и сделайте все, что возможно.

22 апреля 1915 г.

Весь день брожу, вечером в цирке на борьбе, днем у Философова, в «Голосе жизни». Писал к Минич и к Есенину. <…>

Дорогой Сергей Александрович.

Сейчас очень большая во мне усталость и дел много. Потому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем.

Вам желаю от души остаться живым и здоровым.

Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только все-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее.

Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло.

Будьте здоровы, жму руку.

Александр Блок

21 октября 1915 г.

Н.А. Клюев – в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо.

25 октября 1915 г.

Вечер «Краса» (Клюев, Есенин, Городецкий, Ремизов) – в Тенишевском училище.

3 января 1918 г.

Иванову-Разумнику – статьи. – В «Вечернем часе» ответ на анкету – Сологуба, Мережковского и мой. Занятно! – В «Знамени труда» – мои стихи «Комета» (NB – список сотрудников!). – На улицах плакаты: все на улицу 5 января (под расстрел?). – К вечеру – ураган (неизменный спутник переворотов). – Весь вечер у меня Есенин. <…>

4 января 1918 г.

О чем вчера говорил Есенин (у меня).

Кольцов – старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев – средний – «и так и сяк» (изограф, слова собирает), а я – младший (слова дороги – только «проткнутые яйца»).

Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия).

(Интеллигент) – как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут… и выпустят (жест наверх; вообще – напев А. Белого – при чтении стихов и в жестах, и в разговоре).

Вы – западник.

Щит между людьми. Революция должна снять эти щиты. Я не чувствую щита между нами.

Из богатой старообрядческой крестьянской семьи – рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет.

Старообрядчество связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда – о творчестве (опять ответ на мои мысли – о потоке). Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов – не настоящее, застывшее.

Никогда не нуждался.

Есть всякие (хулиганы), но нельзя в них винить народ.

Люба: «Народ талантливый, но жулик».

Разрушают (церкви, Кремль, которого Есенину не жалко) только из озорства. Я спросил, нет ли таких, которые разрушают во имя высших ценностей. Он говорит, что нет (т. е. моя мысль

тут впереди?).

Как разрушают статуи (голая женщина) и как легко от этого отговорить почти всякого (как детей от озорства).

Клюев – черносотенный (как Ремизов). Это не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово – не предмет и не дерево; это – другая природа; тут мы общими силами выяснили).

[Ремизов (по словам Разумника) не может слышать о Клюеве – за его революционность.]

Есенин теперь женат. Привыкает к собственности. Служить не хочет (мешает свободе).

Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее.

22 января 1918 г.

Декрет об отделении церкви от государства. <…> Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: «Изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья «искренняя, но «нельзя» простить». Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили! Правда глаза колет.

30 января 1918 г.

В редакции «Знамени труда» (матерьял для первой книжки «Нашего пути»). Иванов-Разумник, Есенин, Чапыгин, Сюннерберг, Авраамов, М. Спиридонова – заглянула в дверь. – Стихотворение «Скифы». <…>

20 февраля 1918 г.

Совет Народных Комиссаров согласен подписать мир. Левые с.-р. уйдут из Совета. – В «Знамени труда» – мои «Скифы» со статьей Иванова-Разумника. – В «Наш путь» – Р. В. Иванов, Лундберг, Есенин. – Заседание в Зимнем дворце (об А. В. Гиппиусе, о Некрасове, о Миролюбове). Улизнул. – Вечер в столовой Технологического института: 91/2 – 12 час. (меня выпили). Есенин, Ганин, Гликин, Пржедпельский, Е. Книпович, барышни, моя Люба.

21(8) февраля 1918 г.

Немцы продолжают идти.

Барышня за стеной поет. Сволочь подпевает ей (мой родственник). Это – слабая тень, последний отголосок ликования буржуазии.

Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно.

15 000 с красными знаменами навстречу немцам под расстрел.

Ящики с бомбами и винтовками.

Есенин записался в боевую дружину.

Больше уже никакой «реальной политики». Остается лететь.

Настроение лучше многих минут в прошлом, несмотря на то, что вчера меня выпили (на концерте). <…>

2 марта 1918 г.

В Тенишевском училище читать на вечере «Русский крестьянин в поэзии и музыке» (культурно-просветительная комиссия при объединенных демократических организациях). Устругова, Есенин. (Звал Миклашевский.) Ничего этого, очевидно, не было. <…>

27 марта 1918 г.

На Лиговку (Р. В. Иванов): 1) его корректура, 2) «Диалог о любви, поэзии и государственной службе». Есенин, Чапыгин, Сюннерберг, Камкова, Шимановский. – Париж бомбардируется. – Петербург едва не был взорван. – Рабочая дружина читает «Двенадцать». <…>

Тициан Табидзе
С. Есенин в Грузии

С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 191–194.

В своем «Путешествии в сказочную страну» Кнут Гамсун пишет, что русские императоры возвели в обычай ссылать опальных поэтов на Кавказ, но Кавказ из места ссылки превращался для поэтов в источник вдохновения. Нетрудно догадаться, что здесь говорится о Пушкине и Лермонтове.

Еще больше связана с Грузией судьба третьего поэта той же романтической эпохи – А. Грибоедова, похороненного в Тифлисе.

Пушкин имел, несомненно, очень поверхностное представление о тогдашней Грузии, его «Путешествие в Арзрум» полно курьезов, но зато в чистой лирике он оставил неувядаемой прелести образцы: «На холмах Грузии…», «Не пой, красавица, при мне…».

После Пушкина Грузия как бы по традиции вдохновляла многих русских поэтов. Во время войны потянуло в Грузию К. Бальмонта. Он еще до приезда в Грузию, в Океании на пароходе перевел пролог поэмы Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Впоследствии Бальмонт и Валерий Брюсов как будто разделили «сферу влияния» на Кавказе: Бальмонт – переводом Руставели, а В. Брюсов – превосходной книгой «Поэзия Армении»…

В книге «Видение древа» Бальмонт продолжал песню Пушкина о Грузии.

По стопам предшественников шел и Сергей Есенин. Пример Пушкина влек и его на Кавказ. Из книги А. Мариенгофа об С. Есенине видно, что первое впечатление путешествия на Кавказ прошло для поэта не отмеченным особой силой. По поводу этой первой поездки С. Есенин пишет одной своей знакомой в Харьков:

«Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного

диапазона».

Затем в письме описывается трогательный случай, как жеребенок около станции Тихорецкой хотел догнать поезд. Из этого эпизода вылилась впоследствии лучшая поэма Есенина «Сорокоуст»:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?..

В этот период Есенин приезжал в Тифлис, но мы с ним не встречались, и если бы не воспоминания А. Мариенгофа, то о первом пребывании поэта в Тифлисе мы так и не знали бы совершенно.

Но иным приехал в Грузию С. Есенин в сентябре 1924 года. Тогда он безусловно находился в зените своего творчества.

До этого С. Есенин уже успел побывать в Европе и Америке. Но что могла дать его мятущейся душе иссушенная поэзия Запада? Он сам рассказывал, что никогда раньше не чувствовал такой суеты и холода, как именно в тот период.

Внешний успех на Западе не излечил его внутреннего кризиса, и он вместо успокоения чувствовал какое-то ожесточение. Ему хотелось сразу наверстать пропущенное вдохновение, он чувствовал неиссякаемый творческий голод. Из уже достаточно собранных материалов для биографии поэта можно уследить, что грузинский период творчества С. Есенина был одним из самых плодотворных: за это время он написал чуть не треть всех стихов последнего времени, не говоря уже о качественном их превосходстве. В первый же день приезда в Тифлис он прочел мне и Шалве Апхаидзе свое «Возвращение на родину». И стихи и интонации голоса сразу показали нам, что поэт – в творческом угаре, что в нем течет чистая кровь поэта.

В этот приезд С. Есенин сознательно стремился порвать со старым образом жизни. Видно было, что кабацкая богема ему до боли надоела, но он еще не находил сил вырваться из ее оков:

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой…

Поэт благодарит Кавказ: он научил его русский стих «кизиловым струиться соком», – и дает как бы клятву:

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой…

Ему не удалось сдержать своего слова, но зато отдельные строки из того же «На Кавказе» оказались пророческими:

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Кавказ, как когда-то для Пушкина, и для Есенина оказался новым источником вдохновения. В отдалении поэту пришлось много передумать, в нем происходила сильная борьба за окончательное поэтическое самоутверждение. Он чувствовал наплыв новых тем, он хотел быть «настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР». Но для рождения новых тем нужно, чтобы старые темы и мотивы испепелились, – и вот именно в эту пору Есенин кончил свои крестьянские и деревенские напевы, он с кровавой болью расставался с старым своим деревенским миром, чтобы перейти к большой «эпической теме». Здесь, в Тифлисе, на наших глазах писались эти мучительные стихотворные послания «К матери», «К сестре», «К деду» и их воображаемые ответы. Все эти стихи построены на контрастах: на юге в бесснежную тифлисскую зиму поэт почти с неприязнью вспоминает рязанскую зиму:

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!

Здесь нет возможности описать все встречи с поэтом: много в них интимного, многое лишено широкого общественного интереса, многого просто не уместить, но есть и многое важное для советской общественности – я имею в виду взаимоотношение

русских и грузинских поэтов. У меня со стенографической точностью воспроизведены для подготовляемой об С. Есенине книги беседы на эту тему на банкете, устроенном в честь С. Есенина. Есенин вскоре ответил на эти беседы стихотворением «Поэтам Грузии».

В письмах ко мне из Москвы С. Есенин писал, что зима в Тифлисе навсегда останется лучшим воспоминанием. В следующую зиму он собирался опять засесть в Тифлисе и запасался охотничьим ружьем, чтобы ходить на кабанов и медведей. Этому не суждено было сбыться.

В Москве С. Есенин много рассказывал о тифлисской жизни. Об этом мы узнали через В. И. Качалова в его последний приезд в Тифлис (вместе с художественниками). Есенин не переставал думать о приезде в Тифлис и о встречах с друзьями. Грузинские поэты ответили ему взаимной любовью: Сандро Шаншиашвили и Валериан Гаприндашвили переводят Есенина на грузинский язык; выходит в переводе Цецхладзе поэма «Анна Снегина». Сам Есенин несколько раз собирался приняться за переводы грузинских поэтов, учитывая важность этого дела для обоюдного культурного сближения, но и этому не пришлось сбыться. Несомненно, для осуществления этого крупного культурного дела, кроме желания русских и грузинских поэтов, нужен более внушительный общественный почин.

Есенин был в Грузии в зените своей творческой деятельности, и нас печалит то, что он безусловно унес с собой еще неразгаданные напевы, в том числе и напевы, навеянные Грузией. Ведь он обещал Грузии – о ней «в своей стране твердить в свой час прощальный».

1927

Иван Васильевич Грузинов
Есенин разговаривает о литературе и искусстве

С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 364–379.

1

1919 г.

Есенин неподражаемо читал свои стихи: в кругу близких, в клубах, в кафе, на бульварах.

Но насколько хорошо Есенин читал стихи, настолько же плохо он говорил с эстрады. Есенин не был оратором. Говоря в общественных местах, перед посторонней публикой, он долго подыскивал нужные обороты речи, бесконечно тянул неопределенные междометия, иногда неожиданно, с силой выбрасывал отдельные слова, отдельные короткие фразы.

Он интенсивно размахивал руками, стараясь помочь себе жестами. Не найдя нужного ему слова, нужного оборота речи, он часто заменял их жестикуляцией и мимикой.

И несмотря на трудности, с какими сопряжено было для него публичное выступление, он неоднократно выступал с речами: об искусстве, о своих стихах. Он учился ораторскому искусству так же, как учатся плавать: смело бросал себя, как в омут, в толпу.

Но говорить перед большой аудиторией связно и плавно ему удавалось редко.

Аудитория почти всегда добродушно относилась к Есенину, выступавшему с речами.

Однажды он в кафе «Домино» пытался произнести речь о литературе. Он долго тянул что-то невнятное. Слушатели не выдержали, начали подсмеиваться над оратором.

Послышались возгласы:

– Поэт-то ты, Есенин, хороший, а говорить не умеешь! Брось! Лучше читай стихи!

Есенин не докончил речи, виновато махнул рукой и сошел с эстрады.

– Я не оратор. Это правда. Я не оратор, – оправдывался он, подойдя ко мне.

2

Есенин читает В. Розанова. Читает запоем. Отзывается о Розанове восторженно. Хвалит его как стилиста. Удивляется приемам его работы. Розанов в это время для него как поветрие, как корь. Особенно нравились ему «Опавшие листья».

Стоим под аркой в кафе «Домино», под аркой, разделявшей «Домино» на два зала. Есенин упоминает об одной из книг Розанова.

Я спрашиваю его:

– А ты был, Сергей, знаком с Розановым?

– В Петербурге, когда я юношей приехал туда, я познакомился с Розановым. Розанову нравились мои стихи. Однажды Розанов, встретив меня, приласкал; как мальчика, погладил по голове и сказал: пиши, пиши! Хорошие стихи пишешь!

3

Георгиевский пер., д. 7, квартира Быстрова.

Есенин увлекается Меем. Помню книжку Мея, в красной обложке, издание Маркса. Он выбирает лучшие, по его мнению, стихи Мея, читает мне. Утверждает, что у Мея чрезвычайно образный язык. Утверждает, что Мей имажинист.

По-видимому, увлечение Меем было у него непродолжительно. В дальнейшем он не возвращается к Мею, ни разу не упоминал о нем.

4

«Домино».

Комната правления Союза поэтов. Зимние сумерки. Густой табачный дым. Комната правления по соседству с кухней. Из кухни веет теплынью, доносятся запахи яств. Время военного коммунизма: пища и тепло приятны несказанно.

Беседуем с Есениным о литературе.

– Знаешь ли, – между прочим сказал Есенин, – я очень люблю Гебеля. Гебель оказал на меня большое влияние. Знаешь? Немецкий народный поэт…

– У немцев есть три поэта с очень похожими фамилиями, но с различными именами: Фридрих Геббель, Эмануэль Гейбель и, наконец, Иоганн Гебель – автор «Овсяного киселя».

– Вот. Этот самый Гебель, автор «Овсяного киселя», и оказал на меня влияние.

5

Есенин любил конкретно выражать свои мысли, любил наглядность в объяснении. Любил подкреплять свои мысли сравнениями.

Так, выворачивая перчатку и показывая ее собеседнику, он иногда произносил такую фразу:

– Я выворачиваю мир, как перчатку.

6

1920 г.

Ночь. Шатаемся по улицам Москвы. С нами два-три знакомых поэта. Переходим Страстную площадь.

– Я не буду литератором. Я не хочу быть литератором. Я буду только поэтом.

Есенин утверждал это спустя четыре года после выхода в свет его повести «Яр», напечатанной в «Северных записках» в 1916 году. Он никогда не говорил о своей повести, скрывал свое авторство. По-видимому, повесть его не удовлетворяла: в прозе он чувствовал себя слабым, слабее, чем в стихах. В дальнейшем он обратился исключительно к стихотворной форме: лирика, поэма, драма, повесть в стихах.

В том же году, после выхода в свет «Ключей Марии», в кафе «Домино» он спрашивает: хорошо ли написана им теория искусства? Нравятся ли мне «Ключи Марии»?

Почему-то не было времени разбираться в его теории искусства по существу, и я ответил, что книжку следовало бы разделить на маленькие главы.

7

«Домино». Хлопают двери. Шныряют официанты. Поэтессы. Актеры. Актрисы. Люди неопределенных занятий. Поэты шляются целыми оравами.

У открытой двери в комнату правления Союза поэтов – Есенин и Осип Мандельштам. Ощетинившийся Есенин, стоя вполоборота к Мандельштаму:

– Вы плохой поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы!

Мандельштам возражает. Пыжится. Красный от возмущения и негодования.

8

Осень. «Домино».

В кафе «Домино» два больших зала: в одном зале эстрада и столики для публики, в другом только столики. Эти столики для поэтов. В первый год существования кафе залы разделялись огромным занавесом. Обычно во время исполнения программы невыступающие поэты смотрели на эстраду, занимая проход между двумя залами.

В глубине, за вторым залом, комната правления Союза поэтов.

Есенин только что вернулся в Москву из поездки на Кавказ. У него новая поэма «Сорокоуст». Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор:

– Помолчим несколько минут, я подумаю, я приготовлю речь.

Чтобы дать ему возможность приготовиться к выступлению, я ушел в комнату правления Союза поэтов. Явился Валерий Брюсов.

Через две-три минуты Есенин на эстраде.

Обычный литературный вечер. Человек сто посетителей: поэты и тайнопишущие. В ту эпоху, в кафейный период литературы, каждый день неукоснительно поэты и тайнопишущие посещали «Домино» или «Стойло Пегаса». Они-то и составляли неизменный контингент слушателей стихов. Другая публика приходила в кафе позже: ради скандалов.

На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь: расположились на стульях, расставленных рядами и за пустыми столиками.

Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался: он первый, он самый лучший поэт в России, кто-то ему мешает, кто-то его не признает. Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму.

По-видимому, он ожидал протестов со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей негодования. Ничего подобного не случилось: присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму.

Во время выступления Есенина я все время находился во втором зале кафе. После выступления он пришел туда же. Он чувствовал себя неловко: ожидал борьбы и вдруг… никто не протестует.

– Рожаете, Сергей Александрович? – улыбаясь, спрашивает Валерий Брюсов.

Улыбка у Брюсова напряженная: старается с официального тона перейти на искренний и ласковый тон.

– Да, – отвечает Есенин невнятно.

– Рожайте, рожайте! – ласково продолжает Брюсов. В этой ласковости Брюсова чувствовалось одобрение и поощрение мэтра по отношению к молодому поэту.

В этой ласковости Брюсова была какая-то неестественность. Брюсов для Есенина был всегда посторонним. Они были чужды друг другу, между ними никогда не было близости. «Сорокоуст» был первым произведением, которое Брюсов хорошо встретил.

Об отношении Есенина к Брюсову можно судить по одной есенинской частушке:

Скачет Брюсов по Тверской
Не мышой, а крысиной,
Дядя, дядя! я большой,
Скоро буду с лысиной.

9

На улицах Москвы желтые, из оберточной бумаги, афиши:

> БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
> (Б. Никитская) в четверг, 4-го ноября с. г.
> ЛИТЕРАТУРНЫЙ «СУД НАД ИМАЖИНИСТАМИ».
> Литературный обвинитель
> Подсудимые имажинисты
> Гражданский истец
> Валерий Брюсов.
> И. Грузинов, С. Есенин, А. Кусиков, А. Мариенгоф, В. Шершеневич, И.А. Аксенов
> Свидетели со стороны обвинения Адалис, С. Буданцев, Т. Левит. Свидетели со стороны защиты И. Эрдман, Ф. Жиц.
> 12 судей из публики.
> Начало в 7 1/2 час. вечера.
> Билеты продаются – Зал Консерватории, ежедневно от 11 до 5 час. Театральная касса РТО (Петровка, 5), а в день лекции при входе в зал.

Суд над имажинистами – это один из самых веселых литературных вечеров.

Валерий Брюсов обвинял имажинистов как лиц, составивших тайное сообщество с целью ниспровержения существующего литературного строя в России.

Группа молодых поэтов, именующих себя имажинистами, по мнению Брюсова, произвела на существующий литературный строй покушение с негодными средствами, взяв за основу логического творчества образ, по преимуществу метафору. Метафора же является частью целого: это только одна фигура или тропа из нескольких десятков фигур словесного искусства, давно известных литературам цивилизованного человечества.

Главный пункт юмористического обвинения был сформулирован Брюсовым так: имажинисты своей теорией ввели в заблуждение многих начинающих поэтов и соблазнили некоторых маститых литераторов.

Один из свидетелей со стороны обвинения доказывал, что В. Шершеневич подражает В. Маяковскому и чтобы убедить в этом слушателей, цитировал параллельно Маяковского и Шершеневича.

Есенин в последнем слове подсудимого нападал на

существующие литературные группировки – символистов, футуристов и в особенности на центрифугу, к которой причисляли в то время С. Боброва, Б. Пастернака и Аксенова. Последний был на литературном суде в качестве гражданского истца и выглядел в своей роли старшим милиционером.

Есенин, с широким жестом обращаясь в сторону Аксенова:

– Кто судит нас? кто? Что сделал в литературе гражданский истец, этот тип, утонувший в бороде?

Выходка Есенина понравилась публике. Публика смеялась и аплодировала.

10

Через несколько дней после «суда над имажинистами» ими был устроен в Политехническом музее «суд над русской литературой».

Представителем от подсудимой русской литературы являлся Валерий Брюсов.

Есенин играл роль литературного обвинителя. Он приготовил обвинительную речь и читал ее по бумажке звонким высоким тенором.

По прочтении речи стал критиковать ближайших литературных врагов-футуристов.

На этот раз он, сверх ожидания, говорил удачно и быстро овладел аудиторией.

– Маяковский безграмотен! – начал Есенин. При этом, как почти всегда, звук «г» он произносил по-рязански. «Яговал», как говорят о таком произношении московские мужики.

И от этого «ягования» подчеркивание безграмотности Маяковского приобретало невероятную четкость и выразительность. Оно вламывалось в уши слушателей, это резкое **згр**.

Затем он обратился к словотворчеству Велемира Хлебникова.

Доказывал, что словотворчество Хлебникова не имеет ничего общего с историей развития русского языка, что словотворчество Хлебникова произвольно и хаотично, что оно не только не намечает нового пути для русской поэзии, а наоборот, уничтожает возможность движения вперед. Впрочем, смягчающим вину обстоятельством был признан для Хлебникова тот факт, что он перешел в группу имажинистов: Хлебников в Харькове всенародно был помазан миром имажинизма.

11

Вечер. Идем по Тверской. Советская площадь. Есенин критикует Маяковского, высказывает о Маяковском крайне отрицательное мнение.

Я:

– Неужели ты не заметил ни одной хорошей строчки у Маяковского? Ведь даже у Тредьяковского находят прекрасные строки!

Есенин:

– Мне нравятся строки о глазах газет. «Ах, закройте, закройте глаза газет!»

И он вспоминает отрывки из двух стихотворений Маяковского о войне: «Мама и убитый немцами вечер» и «Война объявлена».

Читает несколько строк с особой, свойственной ему нежностью и грустью.

Неоднократно Есенин утверждал, что Маяковский весь вышел из Уитмана.

Мне приходилось слышать от Есенина следующую частушку о Маяковском:

О, сыпь! ой, жарь!
Маяковский бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмана.

Отрицательное отношение к Маяковскому осталось у Есенина на всю жизнь.

В сборнике «Страна советская», изданном в 1925 году, он пишет о рекламных стихах Маяковского:

«Мне мил стихов российский жар. Есть Маяковский, есть и кроме, Но он, их главный штабс-маляр, Поет о пробках в Моссельпроме».

12

1921 г.

Мы несколько раз посетили с Есениным музеи новой европейской живописи: бывш. собрания Щукина и Морозова.

Больше всего его занимал Пикассо.

Есенин достал откуда-то книгу о Пикассо на немецком языке, со множеством репродукций с работ Пикассо.

13

Ничевоки выступают в кафе «Домино».

Есенин и я присутствуем при их выступлении. Ничевоки предлагают нам высказаться об их стихах и теории.

С эстрады мы не хотим рассуждать о ничевоках. Ничевоки обступают нас во втором зале «Домино», и поневоле приходится высказываться.

Сначала теоретизирую я. Затем Есенин. Он развивает следующую мысль:

В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки.

Образ дня него, как и для народа, конкретен.

Образ для него, как и для народа, утилитарен; утилитарен в особом, лучшем смысле этого слова. Образ для него – это гать, которую он прокладывает через болото. Без этой гати – нет пути через болото.

При этом Есенин становится в позу идущего человека, показывая руками на лежащую перед ним гать.

14

После первого чтения «Пугачева» в «Стойле Пегаса» присутствующим режиссерам, артистам и публике Есенин излагал свою точку зрения на театральное искусство.

Сначала, как почти всегда в таких случаях, речь его была путаной и бессвязной, затем он овладел собой и более или менее отчетливо сформулировал свои теоретические положения.

Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ.

Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство: в то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль.

Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему, как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре.

Вот почему его новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим.

И если режиссеры считают «Пугачева» не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить «Пугачева», перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть.

15

1922 г.

Есенин в кафе «Домино» познакомил меня с Айседорой Дункан. Мы разместились втроем за столиком. Пили кофе. Разглядывали надписи, рисунки и портреты поэтов, находящиеся под стеклянной крышкой столика. Показывали Дункан роспись на стенах «Домино».

Разговор не клеился. Была какая-то неловкость. Эта неловкость происходила, вероятно, потому, что Дункан не знала русского языка, а Есенин не говорил ни на одном из европейских языков.

Вскоре начали беседу о стихах. И время от времени обращались к Айседоре Дункан, чтобы чем-нибудь показать внимание к ней: по десять раз предлагали то кофе, то пирожное.

В руках у Есенина был немецкий иллюстрированный журнал. Готовясь поехать в Германию, он знакомился с новейшей немецкой литературой.

Он предложил мне просмотреть журнал, и мы вместе стали его перелистывать. Это был орган немецких дадаистов.

Есенин, глядя на рисунки дадаистов и читая их изречения и стихи:

– Ерунда! Такая же ерунда, как наш Крученых. Они отстали. Это у нас было давно.

Я возразил:

– У нас и теперь есть поэтические группы, близкие к немецким дадаистам: фуисты, беспредметники, ничевоки. Ближе всех к немецким дадаистам, пожалуй, ничевоки.

Уходя из «Домино», Есенин попросил меня дать ему только что вышедшую книжку стихов известной беспредметницы, сказав, что «Серафические подвески» у него уже есть.

В творчестве Есенина наступил перерыв. Он выискивал, прислушивался, весь насторожившись. Он остановился, готовясь сделать новый прыжок.

За границей прыжок этот был им сделан: появилась «Москва кабацкая».

Для «Москвы кабацкой» он взял некоторые элементы у левых эротических поэтов того времени, разбавил эти чрезмерно терпкие элементы Александром Блоком, вульгаризировал цыганским романсом.

Благодаря качествам, которые Есенин придал с помощью Блока и цыганского романса изысканной и малопонятной левой поэзии того времени, она стала общедоступней и

общеприемлемей.

16

Перед отъездом за границу Есенин спрашивает А. М. Сахарова:

– Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?

– А ты руки ему не подавай! – отвечает Сахаров.

– Я не подам руки Мережковскому, – соглашается Есенин, – я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест… Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы оставались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!

17

1923 г.

По возвращении из-за границы Есенин перевез свое небольшое имущество в Богословский переулок, в комнату, где он обитал раньше.

Здесь он в первый раз читал своим друзьям «Москву кабацкую».

Комната долгое время оставалась неприбранной: в беспорядке были разбросаны его американские чемоданы, дорожные ремни, принадлежности туалета, части костюма.

На окне бритва и книги: «Антология новейшей русской поэзии» на английском языке и Илья Эренбург – «Гибель Европы».

Есенин по адресу Эренбурга:

– Пустой. Нулевой. Лучше не читать.

18

Вечером мы у памятника Пушкина. Берем извозчика, покупаем пару бутылок вина и направляемся к Зоологическому саду, в студию Коненкова.

Чтобы ошеломить Коненкова буйством и пьяным видом, Есенин, подходя к садику коненковского дома, заломил кепку, растрепал волосы, взял под мышку бутылки с вином. И, шатаясь и еле выговаривая приветствия, с шумом ввалился в переднюю.

После вскриков удивления и объятий, после чтения «Москвы кабацкой» Коненков повел нас в мастерскую.

Сергей хвалил работы Коненкова, но похвалы эти были холодны.

Вдруг он бросается к скульптору, чтобы поцеловать ему руки.

– Это гениально! Это гениально! – восклицает он, показывая на портрет жены скульптора.

Как почти всегда, он и на этот раз не мог обойтись без игры, аффектации, жеста.

Но работа Коненкова, столь восторженно отмеченная Есениным, была, пожалуй, самой лучшей из всех его вещей, находившихся в мастерской.

19

«Стойло Пегаса».

Сергей показывает правую руку: на руке что-то вроде черной перчатки – чернила.

– В один присест написал статью об Америке, для «Известий». Это только первая часть. Напишу еще ряд статей.

Ряда статей он, как известно, не написал. Больше не упоминал об этих статьях.

20

Есенин передавал мне, что, будучи в Италии, он посетил Максима Горького.

Читал ему «Черного человека».

Поэма произвела на Горького большое впечатление. Горький прослезился.

21

Осень.

У Есенина наступает временный перерыв в творчестве.

Он хочет заняться редактированием и переделкой старой литературы для широких читательских масс.

Встретив меня в «Стойле Пегаса», сообщает:

– Я начинаю работать над Решетниковым. Подготовляю Решетникова для государственного издательства.

22

Осень.

Ранним утром я встречаю Есенина на Тверской: он несет целую охапку книг – издания Круга. Так и несет, как охапку дров. На груди. Обеими руками.

Без перчаток. Холодно.

Вечером того же дня в «Стойле Пегаса» он говорит мне:

– Я занимаюсь просмотром новейшей литературы. Нужно быть в курсе современной литературы. Хочу организовать журнал. Буду издавать журнал. Буду работать, как Некрасов.

23

1924 г.

Летний день. Нас четверо. Идем к одному видному советскому работнику. Хлопотать о деле.

Жарко. Есенин не пропускает ни одного киоска с водами. У каждого киоска он предлагает нам выпить квасу.

Я нападаю на него:

– У тебя, Сергей, столько раз повторяется слово «знаменитый», что в собрании сочинений оно будет на каждой странице. У Игоря Северянина лучше: тот раза два или три написал, что он гений, и перестал. А знаешь, у кого ты заимствовал слово «знаменитый»? Ты заимствовал его, конечно бессознательно, из учебника церковной истории протоиерея Смирнова. Протоиерей Смирнов любит это словечко!

Дальше я привожу из Есенина целый ворох церковнославянских слов.

Он долго молчит. Наконец не выдерживает, начинает защищаться.

В ожидании приема у советского работника продолжаем прерванный разговор.

– Раньше я все о мирах пел, – заметил Есенин, – все у меня было в мировом масштабе. Теперь я пою и буду петь о мелочах.

24

Лето. Пивная близ памятника Гоголю.

Есенин, обращаясь к начинающему поэту, рассказывает, как Александр Блок учил его писать лирические стихи:

– Иногда важно, чтобы молодому поэту более опытный поэт показал, как нужно писать стихи. Вот меня, например, учил писать лирические стихи Блок, когда я с ним познакомился в Петербурге и читал ему свои ранние стихи.

– Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, – говорил мне Блок. – Идеальная мера лирического стихотворения 20 строк. Если стихотворение начинающего поэта будет очень длинным, длиннее 20 строк, оно безусловно потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и водянистым.

Учись быть кратким! В стихотворении, имеющем от 3 до 5 четверостиший, можно все сказать, что чувствуешь, можно выразить определенную настроенность, можно развить ту или иную мысль.

Это на первых порах. Потом, через год, через два, когда окрепнешь, когда научишься писать стихотворения в 20 строк, – тогда уже можешь испытать свои силы, можешь начинать писать более длинные лирические вещи.

Помни: идеальная мера лирического стихотворения – 20 строк.

25

Есенин редко бывал в театре. И не потому, чтобы он отрицал театральное искусство, а потому, что он был слишком лирик. А еще и потому, что почти все вечера он проводил в кабаках.

В кино он бывал чаще, чем в театре, и опять-таки не потому, что искусство кино он любил больше театрального искусства, а потому, что в кино пойти проще и удобнее.

Из заграничных писем Есенина, из бесед с ним об искусстве Европы и Америки ясно, что современное эстрадное искусство и мюзик-холлы он ненавидел. Он был глубоко убежден, что мюзик-холлы и Изы Кремер – вырождение и гибель искусства. По его мнению, подобное искусство – это только средство зарабатывать деньги.

В теоретических спорах о театральном искусстве театр Мейерхольда предпочитал он Камерному. Он мечтал у Мейерхольда поставить одну из своих пьес. По традиции же, по жизненным привычкам Есенин тяготел к Московскому Художественному театру.

Изредка, но торжественно, совершив предварительно обряд омовения головы, направлялся он в Художественный театр, и, конечно, не на Чехова, которого он терпеть не мог, а на какую-либо из обстановочных и декоративных пьес, например на «Феодора Иоанновича».

26

Ни о ком из русских и иностранных писателей Есенин не отзывался с таким презрением, как об Антоне Чехове. К Чехову он относился как к одному из своих злейших личных врагов. Он выискивал все самое отвратительное и язвительное, чтобы бросить в Чехова.

Откуда у Есенина такая ненависть к Чехову?

Очень может быть, что он ненавидел Чехова за повесть «Мужики», ненавидел Чехова, как типичного представителя русской интеллигенции.

27

Брюсовский пер., д. 2а, кв. 26.

Вечер. Есенин на кушетке, в цветном персидском халате, в туфлях. Берет с подоконника «Голубые пески» Всеволода Иванова. Перелистывает. Бросает на стол. Снова, не читая, перелистывает и с аффектацией восклицает:

– Гениально! Гениальный писатель!

И звук «г» у него, как почти всегда, по-рязански.

28

Иван Рукавишников выступает в «Стойле Пегаса» со «Степаном Разиным».

Есенин стоит близ эстрады и внимательно слушает сказ Ивана Рукавишникова, написанный так называемым напевным стихом.

В перерывах и после чтения «Степана Разина» он повторяет:

– Хорошо! Очень хорошо! Талантливая вещь!

29

«Стойло Пегаса». Я прочел книгу Александра Востокова «Опыт о русском стихосложении», изданную в 1817 году. Встретив Есенина, я делился с ним прочитанным, восторгался редкой книгой.

Книга была редкой не только по содержанию, но и по внешнему виду: на ней был в качестве книжного знака фамильный герб одного из видных декабристов.

Я привел Есенину мнение Пушкина о Востокове: «Много говорили о настоящем русском стихе. А.Х. Востоков определил его с большою ученостью и сметливостью».

Я сообщил ему, что первого русского стихотворца звали тоже Сергеем: Сергей Кубасов, сочинитель Хронографа, по свидетельству Александра Востокова, первый в России написал в XVI веке русские рифмованные стихи.

Темами нашей беседы в дальнейшем, естественно, были: формы стиха, эволюция русского стиха. Между прочим Есенин сказал:

– Я давно обратил внимание на переносы в стихе. Я учился и учусь стиху на конкретном стихотворном материале. Переносы предложения из одной строки в другую в первый раз я заметил у Лермонтова. Я всегда избегал в своих стихах переносов и разносок. Я люблю естественное течение стиха. Я люблю совпадение фразы и строки.

Я ответил, что в стихах Есенина в самом деле мало переносов и разносок, в особенности если иметь в виду его песенную лирику; в этом отношении он походит на наших русских песнетворцев и сказочников: по мнению Востокова, переносы и разноски заимствованы нашей искусственной книжной поэзией от греков и римлян.

В одной из моих тетрадок сохранилась выдержка из книги Востокова, относящейся к нашему разговору. Привожу ее полностью:

«Свойственные греческой и римской поэзии, а с них и в новейшую нашу поэзию вошедшие разноски слов (inversions) и переносы из одного стиха в другой (enjambements) в русских стихах совсем непозволительны: у русского песнетворца или сказочника в каждом стихе полный смысл речи заключается и расположение слов ничем не отличается от простого разговорного».

30

1925 г.

Лето.

По возвращении с Кавказа Есенин сообщал о романе, который он будто бы начал писать. Но, по-видимому, это было только предположением. К прозе он не вернулся.

Намерение его осталось невыполненным.

31

Лето.

Я с Есениным у одного из наших общих знакомых. Он мечтает отпраздновать свою свадьбу: намечает – кого пригласить из друзей, где устроить свадебный пир.

Бывает так: привяжется какой-нибудь мотив песни или стихотворный отрывок, повторяешь его целый день. К Есенину на этот раз привязался Демьян Бедный:

Как родная меня мать
Провожала.
Тут и вся моя родня
Набежала.

Он пел песню Демьяна Бедного, кое-кто из присутствующих подтягивал.

– Вот видите! Как-никак, а Демьяна Бедного поют. И в деревне поют. Сам слышал! – заметил Есенин.

– Не завидуй, Сергей, Демьяном станешь! – ответил ему кто-то из присутствующих.

32

Классической музыкой Есенин мало интересовался. По крайней мере, я лично за все время нашей многолетней дружбы (с 1918 г.) ни разу не видал его в опере или концерте.

Он плясал русскую, играл на гармонике, пел народные песни и частушки. Песен и частушек знал он большое количество. Некоторые частушки, распеваемые им, были плодом его творчества. Есенинские частушки большею частью сложены на случай, на злобу дня или направлены по адресу его знакомых: эти частушки его, как и многие народные частушки, имеют юмористический характер.

В период 1918–1920 годов, в самый пышный расцвет богемной поэтической жизни Москвы, Есенин на литературных вечерах в кафе «Домино» и в «Стойле Пегаса» любил распевать частушки.

С каждым годом он становился угрюмей. Гармонь забросил давно. Перестал плясать. Все реже и реже пел частушки и песни.

Однажды, летом 1921 года, я направился в Богословский переулок, чтобы послушать только что написанного «Пугачева».

Лишь только я вошел в парадное дома № 3, как до меня стали доноситься какие-то протяжные завывания. Я недоумевал: откуда эти странные звуки?

Вхожу в переднюю. Дверь, ведущая в комнату, расположенную по левую сторону, открыта. Есенин и Орешин сидят в углу за столом и тянут какую-то старинную песню.

Они были неподвижны. Лица их посинели от напряжения. Так поют степные мужики и казаки.

Я не хотел мешать певцам, мне жаль было прерывать песню, и можете себе представить, сколько времени мне пришлось бы стоять в передней?

Песня была не окончена: Сергей заметил меня и потянул в комнату.

Один глаз у него был подбит: синяк и ссадина.

– Это я об косяк, это я об косяк, – повторял он, усаживая меня за стол.

Осенью 1925 года я собирался устроить вечер народной песни. По моим предположениям, на вечере должны были петь поэты из народа и мои деревенские друзья.

Я пригласил Есенина на этот вечер народной песни. Он изъявил согласие принять участие на вечере, но сделал это с полным равнодушием. Я заметил его безразличное отношение к песням и спросил:

– Ты, кажется, разлюбил народные песни?

– Теперь я о них не думаю. Со мной было так: увлекался песнями периодически; отхожу от песни и снова прихожу к ней.

33

Всем известно литературное «супружество» Клюева и Есенина. На нем останавливаться не буду.

Уже с 1918 года Есенин начинает отходить от Клюева.

Причины расхождения с Клюевым излагаются в «Ключах Марии».

«Для Клюева, – пишет автор «Ключей Марии», – все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников». «Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов…», «он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея…», «художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и «изрони женьчужну душу из храбра тела, через злато ожерелие».

Те же мысли мы находим у Есенина в стихотворении, посвященном Клюеву: «Теперь любовь моя не та».

Однако в последнее время у него были попытки примирения с Клюевым, попытки совместной работы.

Так, в 1923 году, когда обозначился уход Есенина из группы имажинистов, он прежде всего обратился к Клюеву и хотел восстановить с ним литературную дружбу.

– Я еду в Питер, – таинственным шепотом сообщает мне Сергей, – я привезу Клюева. Он будет у нас главный, он будет председателем Ассоциации Вольнодумцев. Ведь это он учредил Ассоциацию Вольнодумцев!

Клюева он действительно привез в Москву.

Устроил с ним несколько совместных выступлений. Но прочных литературных взаимоотношений с Клюевым не наладилось. Стало ясно: между ними нет больше точек соприкосновения.

В это же время у Есенина наступил едва ли не самый бурный период его московской кабацкой жизни. Есенин побил рекорд буйства.

Кафейные скандалы, один грандиознее другого, следовали непрерывно, а вслед за скандалами следовали и ночевки в отделениях милиции. Кончилось санаторием.

Клюева он бросил на произвол судьбы.

– Сереженька-то наш, Сереженька-то наш совсем спился, совсем спился, – сокрушенно причитая, жаловался мне Клюев.

И уехал обратно в Петроград.

Со стороны Есенина это была последняя попытка совместной литературной работы с Клюевым. Личными друзьями они

остались: Есенин, приезжая в Ленинград, считал своим долгом посетить Клюева.

К последним стихам Клюева Есенин относился отрицательно.

Осенью 1925 года Есенин, будучи у меня, прочел «Гитарную» Клюева, напечатанную в ленинградской «Красной газете».

– Плохо! Никуда! – вскричал он и бросил газету под ноги.

34

Осень. Есенин и С.А. Толстая у меня. Даю ему новый карандаш.

– Люблю мягкие карандаши, – восклицает он, – этим карандашом я напишу строк тысячу!

Мысль о создании журнала до самой смерти не покидает Есенина. На клочке бумаги он набрасывает проект первого номера журнала:

1. Статью.

2. Статью.

3. Конч. о живописи. Репродукции.

Ее. Нас. Груз. Рецензии.

– Я непременно напишу статью для журнала. Непременно. Я знаю твою линию в искусстве. Мы не совпадем. Я напишу иначе. Твоя статья будет дополнять мою, и обратно, мечтает Есенин и просит достать ему взаймы червонец. Дня два или три назад он получил гонорар в Госиздате, сегодня уже ни копейки нет.

Для первого номера журнала предполагалось собрать следующий материал: статья Д. Кончаловского о современной живописи; репродукции с картин П. Кончаловского, А. Куприна, В. Новожилова; стихи Есенина, Грузинова, Наседкина.

Проект журнала составлялся спешно. В ближайшее время решили собраться еще раз, чтобы составить подробный план журнала и приступить к работе по его изданию.

1926, июнь

Иван Васильевич Евдокимов
Сергей Александрович Есенин

С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 282–302.

Я никогда не был интимно близок с Есениным. Мы были на «ты», но Есенин «тыкался» с такой уймой людей, что это «ты» не имело никакого внутреннего значения. Я не выпил с Есениным ни одной рюмки водки, мне не довелось встречаться с ним в его частной жизни, не довелось бывать у него. В начале осени 1925 года в день его рождения (Есенину исполнилось тридцать лет) наметили встречу, но она не удалась из-за невменяемого состояния поэта. Встречи происходили два года: в 1924 и в 1925 годах. Сначала в Большом Успенском переулке, д. № 5, где помещался Литературно-художественный отдел Госиздата. Тут же в соседних комнатах была редакция журнала «Красная новь» и книгоиздательство «Круг». В мае-июне 1924 г. Литературно-художественный отдел перебрался в Главное управление Госиздата, угол Рождественки и Софийки. Автор воспоминаний был техническим редактором Литературно-художественного отдела. – *Примеч.* Было их довольно много. И от этих встреч на всю жизнь остались тяжелые и радостные воспоминания: какой-то горький и сладимый аромат.

Была у меня внутренняя подготовка к этим встречам: удивленная любовь к стихам Есенина от первой книжки «Радуница», прочитанной мной в студенческие годы, и от всех последующих книжек за ней. Бывало временное притупление интереса к его поэзии, некоторые стихотворения не удовлетворяли, но основное чувство не изменялось.

В Большом Успенском переулке

Помню, в домораживающие последними морозами дни зимы 1924 года, с небольшим скупым солнцем на полу, вдруг в комнату вошел человек в зимнем пальто, вошел и бросился глазами в глаза. Никогда раньше не видав его, я узнал по прежде попадавшимся портретам Есенина. И мне сразу запомнились – мягкая, легкая и стремительная походка, не похожая ни на какую другую, своеобразный наклон головы вперед, будто она устала держаться прямо на белой и тонкой шее и чуть-чуть свисала к груди, белое негладкое лицо, синеющие небольшие глаза, слегка прищуренные, и улыбка, необычайно тонкая, почти неуловимая. Этот образ запечатлелся. Через два года я глядел в Доме печати на обезображенное лицо удавленника и не мог принять, не узнал его.

За Есениным вошел поэт А. Ганин. Последнего я знал давно: мы земляки. Ганин меня и познакомил с Есениным. Бывший тут поэт Казин стал показывать Есенину какую-то рукопись. Ганин сел к моему столу и спросил о судьбе его стихотворений, находившихся в отделе на просмотре. Я не успел ответить, как Есенин повернулся от Казина:

– Надо, надо взять. У него хорошие стихи, очень хорошие стихи.

На лице у него была застенчивая усмешка. Стихи казались отделу плохими – и не были приняты. Такие разговоры повторялись в дальнейшем: Есенин часто хлопотал то об одном, то о другом поэте. Скоро, в эту мою первую встречу с Есениным, пришел А. Воронский, и поэт перешел с ним в редакторский кабинет.

Наслышанный о скандалах и пьяных кутежах Есенина, я предполагал увидеть его пьяным, но Есенин был трезв. Только веки, когда я жадно и осторожно сбочку рассмотрел его, были с малиновыми бисеринками.

Вторая встреча произошла вскоре – Есенин пришел жестоко пьяный. Была другая походка, не было улыбки, только по-прежнему свисала голова, гораздо ниже, высоко на лоб была вздернута шапка, лицо было подавлено и мрачно… Вид у него был растерзанный. Галстук сполз набок, кашне чуть держалось, закинутое на плечо, и эти чудесные неповторимые глаза были тусклы и слезливы, отливали какой-то серью. Есенин говорил резко, громко, почти кричал. В комнатах повеяло тревогой, всё насторожилось… Я видел по глазам моих товарищей, как они втайне ждали, чтобы он скорее ушел. Надо было случиться так,

что в это время появился в комнате маленький, но очень заносчивый, грубый, завистливый литератор из тех, что шныряют по редакциям и трутся о спины крупных и настоящих художников. Есенин вдруг заулыбался ему – и как будто стало веселее в комнате, тревога разрядилась… Но литератор с подчеркнутой близостью к Есенину панибратски воскликнул:

– А, Сережка, ты опять?..

Восклицание это резануло всех – и прежде всего Есенина. Было ясно, как поэт пытался насильно улыбнуться, а потом вгляделся в него тяжело, пошевелил губами и брызнул густо и враждебно слюной матерную брань.

Литератор продолжал паясничать, но тут как-то все, без уговору, сразу заговорили, окружили Есенина, оттеснили от него литературного Хлестакова… Есенин уже забыл о нем, махнул рукой и стал просить у секретаря журнала «Красная новь» деньги за стихи.

И все мои дальнейшие встречи с Есениным происходили именно в этих двух закономерно чередовавшихся состояниях: он был или пьян, или навеселе. Чаще всего он был пьян, точнее – выпивши. И у меня остались два совершенно разных образа.

Когда он навеселе входил в комнату своей легчайшей походкой, с изумительными своими глазами, у меня всегда было такое впечатление, что в комнате зажигался синий огонь, разливая свое удивительное сияние. А когда он приходил пьяный, в комнате будто начинал чадить желтый густой ночник, все заволакивая копотью. Пьяный он был заносчив, груб, матерщинничал, кричал; на лице у него было высокомерие; лицо было резкое, злое; потухали и злели глаза; он размахивал руками и много курил. Впечатление он производил тяжелое, неприятное, часто отталкивающее. Он непременно кого-либо ругал, чаще писателей и поэтов. <…> Не скрою, я тяготился им. Я стремился осторожно выпроваживать его. Есенин понимал, он растерянно протягивал руку, жалко ухмылялся, неловко повертывался, опускал голову – и мрачно толкал дверь. В глазах у него была явственная боль – и от этого становилось еще тяжелее. Но это было неизбежно.

Самыми яркими впечатлениями от встречи с Есениным было чтение им стихов.

Он тогда ни на кого не глядел, глаза устремлялись куда-то в сторону, свисала к груди голова, тряслись волосы непокорными вьюнами, а губы уставлялись детским капризным топничком. И как только раздавались первые строчки, будто запевал чуть неслаженный музыкальный инструмент, понемногу звуки вырастали, исчезала начальная хрипотца – и строфа за строфой

лились жарко, хмельно, страстно… Я слушал лучших наших артистов, исполнявших стихи Есенина, но, конечно, никто из них не передавал даже примерно той внутренней и музыкальной силы, какая была в чтении самого поэта. Никто не умел извлекать из его стихов нужные интонации, никому так не пела та подспудная непередаваемая музыка, какую создавал Есенин, читая свои произведения. Чтец это был изумительный. И когда он читал, сразу понималось, что чтение для него самого есть внутреннее, глубоко важное дело.

Забывая о присутствующих, будто в комнате оставался только он один и его звеневшие стихи, Есенин громко, и жарко, и горько кому-то говорил о своих тягостных переживаниях, грозил, убеждал, спорил… Расходясь и расходясь, он жестикулировал, сдвигал на лоб шапку, на лице выступал тончайший пот, губы быстро-быстро шевелились…

Первый раз я слушал его весной 1924 года. Он пришел под хмельком. Мы собирались уже уходить с работы. Он принес стихотворение «Письмо матери», напечатанное в третьей книжке «Красная новь» за 1924 год. Кто-то попросил его прочитать. Держа в руке листок и не глядя в него, он начал читать. Лица его не было видно. Он стоял спиной к окну. Слушали Казин, Когоут, Казанский и я. Помню, как по спине пошла мелкая, холодная оторопь, когда я услышал:

Пишут мне: что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Я искоса взглянул на него: у окна темнела чрезвычайно грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой:

Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Тут голос Есенина пресекся, он, было видно, трудно пошел дальше, захрипел… и еще раз запнулся на строчках:

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.

Дальше мои впечатления пропадают, потому что зажало мне крепко и жестоко горло; таясь и прячась, я плакал в глуби огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между окнами.

Он кончил. Помолчали. В дверях мигал светлыми, слегка желтевшими глазами Казанский, Когоут с неподвижным своим лицом тушевал карандашом на какой-то нужной казенной бумаге, Казин серьезно и мечтательно вслушивался в слова, подняв кверху свой нос щипком.

– Ну, каково? – быстро спросил Есенин.

У меня, может быть некстати, подвернулось одно слово:

– Вкусно!

Есенину оно понравилось, он несколько раз повторил его. Через год, когда мы познакомились поближе, он, рассказывая мне о новых своих вещах, всегда смеясь, шутил:

– Кажется, опять получилось вкусно.

Вскоре он читал другую свою вещь:

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Остановились мы у стола машинистки «Красной нови». Были – Воронский, Казанский и я.

– Хочешь, прочитаю новое стихотворение? – обратился Есенин к Воронскому.

– Ну, – буркнул Воронский.

У Есенина была перевязана марлей рука около кисти. Он только что вышел из больницы. До того говорили: Есенин глубоко и опасно разрезал чем-то руку.

Мы затаились. Особенно мне запомнился Воронский.

Он выглядывал из-под светлых стеклышек пенсне с какой-то удивленной тревогой, улыбка пришла сразу и не сходила с лица, он хорохорился, храбрился, скрывал свои чувства и переживания, но они были явны в той жадности внимания, с какой он смотрел на поэта. Каюсь, никогда не мог без спазм в горле слушать чтение Есенина. И на этот раз, отвернувшись к шкафу, хлебал я редкие слезы и протирал глаза.

Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам… – в величайшем возбуждении, тряся забинтованной рукой, кричал Есенин:

Бью, а кони, как метель, шерсть разносят в хлопья.
Вдруг толчок… и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки…
Забинтованный лежу на больничной койке.
И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

Нет, это было совершенно необыкновенно, это потрясало, это выворачивалась раненая душа поэта!

Синие твои глаза в кабаках промокли.

сорвался вдруг голос Есенина, пахнуло от него противно винным дыханием, он закашлялся и устало вытер платком лоб.

– Ты мне дай его, – взволнованно сказал Воронский. Стихи были напечатаны рядом с «Письмом матери» в той же книжке «Красной нови».

В мае-июне месяце 1924 года Литературно-художественный отдел перевели с Большого Успенского переулка в Главное управление Госиздата на Рождественку.

Перед отъездом – в комнатах был уже разгром – зашел Есенин, трезвый, веселый, свежий. Он собирался уезжать из Москвы.

– До осени, – говорил он, – буду писать прозу. Напишу повесть, листов десять. Хочется. Я ведь писал прозой.

– Это «Яр»-то?

– Да. И еще. Воронскому привезу ее осенью. Для «Красной нови». И сюжет… и все у меня есть.

– Не забудь привезти стихов, – пошутил я.

– И стихи будут. Сначала в деревню к себе съезжу. У нас там охота хорошая. Денег надо свезти на сенокос матери. Потом поеду на юг.

В дальнейшем я встречал Есенина в Госиздате мельком в конце 1924 года и в первой половине 1925 года, обычно в крестьянском отделе или в коридорах, у кассы. При первой же встрече зимой я спросил:

– А как, Сергей Александрович, повесть?

Он заулыбался и, будто извиняясь, ответил:

– Ничего не вышло. Да и заболел я.

Березовый ситец

В июне 1925 года Есенин зачастил в Литературно-художественный отдел Госиздата. Кажется, он вернулся тогда из Баку. Пошли слухи о женитьбе его на С.А. Толстой. И неизменно при этом повторяли: на внучке Толстого. Наконец он мне и сам сказал:

– Евдокимыч, (так он называл меня почти с первой встречи. – *Примеч.)*, я женюсь. Живу я у Сони. Это моя жена. Скоро будет свадьба. Всех своих ребят позову да несколько графьев. Народу будет человек семьдесят. А Катя – сестра – выходит замуж за поэта Наседкина.

Почему-то больше всех хлопотала и волновалась о свадьбе А.А. Берзинь, считавшаяся близким другом Есенина. Чаще всего с нею он и заходил ко мне в то время. Шли переговоры о новой книжке стихов Есенина под названием «Рябиновый костер». Литературно-художественный отдел заключил договор на эту книжку. Договор заключили спешно, чтобы иметь какой-либо повод выдать ему из кассы сто рублей денег. Впоследствии этот договор аннулировали, когда заключили договор на трехтомное «Собрание стихотворений».

Наблюдая в этот месяц Есенина – а приходил он неизменно трезвый, живой, в белом костюме (был он в нем обаятелен), приходил с невестой и три раза знакомил с ней, – я сохранил воспоминание о начале, казалось, глубокого и серьезного перелома в душе поэта. Мне думалось, что женится он по-настоящему, перебесился – дальше может начаться крепкая и яркая жизнь. Скептики посмеивались:

– Очередная женитьба! Да здравствует следующая!

А он сам как-то говорил:

– С Соней у меня давно, давно… давнишний роман. Теперь только женимся.

Скептики оказались правы: в середине месяца он приходил два раза пьяный, растерзанный. Досужие языки шептали:

– Вчера сбежал от невесты! Свадьбы не будет!

И уже приходили колебания – делаемый им шаг становился случайным.

Незадолго перед этими днями Литературно-художественный отдел выпустил его книжку «Березовый ситец». Двенадцатого июня он пришел в отдел за авторскими экземплярами в сопровождении А.А. Берзинь, пошатываясь, ухмыляясь, тускло глядя. Меня зачем-то вызвали в другой отдел. Когда через некоторое время я вернулся, Есенина уже не было, но мне кто-то

передал от него книжку с надписью красными чернилами:

Сердце вином не вымочу,
Милому Евдокимочу,
Пока я тих,
Эта книга и стих.

С. Есенин

1925, 12/VI

Сердце было вымочено через полгода.

«Собрание стихотворений» Есенина

В середине июня 1925 года в Литературно-художественном отделе Госиздата возникла мысль об издании «Собрания стихотворений» Сергея Есенина. Неоднократно до того мне приходилось беседовать с поэтом об издании, но он был или нетрезв, или занят своими предсвадебными приготовлениями. Эти последние в конце концов и послужили внешним поводом к ускорению дела. Была в Есенине, по-моему, одна черта: он ясно и отчетливо помнил трезвым все, что говорилось с ним за несколько дней до того, когда он был пьян. Однажды он пришел довольно рано.

– Евдокимыч, я насчет моего «Собрания». Мы с тобой говорили в прошлый раз. У меня, понимаешь, свадьба, я женюсь. Вместе со мной в один день сестра выходит замуж за Наседкина. Нельзя ли мне сразу получить тысячи две денег? Только надо скоро.

Я его осведомил, что едва ли можно будет сделать так скоро, как он предполагает: договор на большую сумму, необходимо будет получить согласие высших органов Госиздата и, конечно, поставить дело на «формальные» колеса, подать заявление, сговориться об условиях и т. д. Дня через два он появился с Наседкиным и под мою диктовку наспех написал следующее заявление:

В Литературный отдел Госиздата Сергея Есенина

Предлагаю литерат. отд. издать собрание моих стихотворений в количестве 10 000 строк, по рублю за строку, с единовременной выдачей в 2000 рублей и остальные с ежемесячной выдачей по 1000 руб., начиная с 1 августа 1925 г. по 1 апреля 1926 г. сроком издания на 2 года, тиражом не более 10 000 т. Мое собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось. Сергей Есенин. 17/VI-25.

Все условия его были приняты, кроме одного: единовременной выдачи двух тысяч рублей. Летние месяцы – время обычного затишья в книгопродавческой деятельности – были трудными, и Госиздат вынужден был сводить свои расходы до минимума. Через неделю, 30 июня, был подписан договор:

поэт обеспечивал свою жизнь на много месяцев вперед. С июля началась выдача денег, по тысяче рублей ежемесячно. Факт заключения договора с Есениным по высшей ставке – рубль за строку, никому из других поэтов не назначаемой, свидетельствовал о той высокой оценке есенинского творчества, какая была в Государственном издательстве. Кроме того, Госиздат договорился с поэтом о печатании всех его вновь написанных стихотворений отдельными книжками после предварительного их распубликования Есениным в периодической печати. Как общее правило, стихи на рынке идут плохо – эпоха наша полуравнодушна к стихам, – и даже стихи Есенина, например «Березовый ситец», шли медленно, тем не менее Госиздат почел своей обязанностью издать его «Собрание стихотворений».

Надо было видеть ту редкую радость, которая была в синих глазах Есенина, когда дело закончилось во всех инстанциях.

– Евдокимыч, – говорил он, – я написал тысяч пятнадцать строк. Я, понимаешь, отберу самое лучшее, тысяч десять. Этого довольно: будет три тома. Понимаешь, первое мое «Собрание». Надо издать только хорошо. Я теперь примусь за работу.

Обращение Есенина ко мне объяснялось тем, что главным образом мне пришлось иметь с ним дело в оформлении разных деталей: заведующим отделом Н.И. Николаевым мне это было поручено особо.

Уже вскоре Есенин принес первую партию стихотворений, затем другую. Рукопись была в хаотическом состоянии. Я засмеялся, засмеялся и он.

– Это ничего, – смеясь, говорил Есенин, – я, понимаешь, как-нибудь зайду, мы с тобой вместе и разберемся.

У него не было никакого плана издания, рукопись была неудобна для набора, в разных местах попадались одни и те же стихотворения, поэмы мешались с ранними стихотворениями и наоборот, истрепанные лоскутки старых газет лежали рядом с переписанными от руки стихотворениями, конечно, без знаков препинания, – словом, смешение почерков, разных машинок, газет, вырезок из журналов, полная неразбериха…

Отложили до более благоприятного случая. А летом внезапно, не сказавшись, Есенин исчез – в Баку. Прождали месяца два. В августе мне поручили написать ему письмо. Ухмыляясь и стремясь быть строгим и официальным, я послал ему письмо, в котором напомнил о невозможности производить набор по его оригиналам, об отсутствии всякого плана издания, и просил подумать его, в каком виде он хочет издать «Собрание стихотворений». Тут же указал несколько возможных видов издания: хронологический, по циклам, по родам и видам поэзии.

Ответ получил по телеграфу: «Приезжаю» (31/VIII). Скоро он появился в Москве. После жена Софья Андреевна рассказывала, что письмо его встревожило и явилось поводом уехать из наскучившего ему Баку, отменив назначенную поездку в Тифлис и Абас-Туман.

По возвращении он несколько раз был вместе с женой в отделе, и мы втроем, усевшись тут же за стол, работали над распланированием стихотворений.

– Я, понимаешь, Евдокимыч, хочу так, – заговорил он, появившись в первый же раз после приезда, – я обдумал… В первом томе – лирика, во втором – мелкие поэмы, в третьем – крупные. А? Так будет неплохо. Тебе нравится?

– Как ты хочешь, – отвечал я, – это твое дело. Мы тебе не будем подсказывать никакого другого способа, лишь бы можно было скорее приступить к работе.

Остановились на распределении по родам и видам поэзии. Есенин унес из отдела свою непричесанную груду стихотворений, еще более растрепавшуюся, так как за время его отсутствия она неоднократно была читаема в отделе разными лицами.

Недели через полторы стихи вернулись в более налаженном виде, но – увы – и в таком обличье посылать их в типографию не представлялось возможным: рукопись была не пронумерована, без оглавления, на одном листе соединялось по несколько стихотворений без начала и конца, кое-где было по несколько дат, зачеркнутых и перечеркнутых и опять восстановленных, не соблюдена строфичность, тексты не сверены после машинистки и т. д.

Нетрудно было рассердиться на другого, но на этого обаятельного человека, серьезно и детски синевшего глазами над тобой, было свыше человеческих сил рассердиться.

– Теперь, кажется, совсем хорошо, – торопливо суетился он у стола, – тут вот – лирика, тут – поэмы. Я еще подбавлю. Соня переписывает.

Тогда и условились еще раз-два просмотреть рукопись вместе со мной в отделе…

Поэт пил, скандалил. Краснея потухавшими глазами, мельком заходил ко мне, раздраженно бормотал о каких-то и от кого-то обидах, собирался куда-то уезжать, а потом внезапно поднимался, сулил зайти – и не заходил. При таком его состоянии работа над изданием была немыслима.

Вдруг как-то позвонила жена по телефону: и на второй, на третий день он пришел вместе с ней.

Мы уселись за стол. Я выложил стихотворения. Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от

непосильной работы, была глубочайшая усталость, он капризничал, покрикивал на жену, был груб с нею… И тотчас, наклоняясь к ней, с трогательной лаской спрашивал:

– Ты как думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше? – А потом сразу серчал: – Что же ты переписала? Где же то-то, понимаешь, недавно-то я написал? Ах, ты!..

И так мешались грубость и ласка все время.

В отделе было душно и жарко. На лбу у него был пот, влажные руки он вытирал о пиджак. – Сережа, ты разденься, – подсказал я, – тебе будет удобнее.

А в душе думалось: вот он выйдет сейчас потный на улицу, простынет – и чахотка доделает свое дело. В эти осенние месяцы я много раз слышал рассказы о чахотке у поэта, об этом даже писал какой-то неловкий репортер одной из московских газет, сообщая о своем свидании в Италии с Максимом Горьким, который будто бы сказал:

– У Есенина горловая чахотка. Тут уж ничего сделать нельзя.

Общее настроение отражалось и на мне.

Он скинул пальто и кашне и, будто всегда делал так, подал их жене, а та, словно всегда раздевала его, взяла и спокойно положила на соседний свободный стол. Не скрою, я испытывал неловкость.

Есенин торопливо, умело и знакомо шабаршился в рукописи, видимо, помня каждое стихотворение, где оно лежало, и складывал их грудкой. Листки расползались, он сердился, хватал их… Сделали первый том. Начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад. И разлад этот происходил по ряду стихотворений. Есенин останавливал глаза на переписанном Софьей Андреевной произведении и ворчал:

– Соня, почему ты тут написала четырнадцатый год, а надо тринадцатый?

– Ты так сказал.

– Ах, ты все перепутала! А вот тут надо десятый. Это одно из моих ранних… Нет! Не-е-т! – Есенин задумывался. – Нет, ты права! Да-да, тут правильно.

Но в общем у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали, оставлять даты или отказаться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Проработали часа полтора-два. И сделали два тома. Есенин перескакивал от одного тома к другому, переделывал по нескольку раз, быстро вытаскивая листки из грудки и перекладывая их, снова нумеровали, снова ставили даты, писали шмуцтитула и уничтожали их. Я записывал в каждом томе, чего

недоставало и что хотел поэт донести потом: он диктовал. Остановились над поэмой «Страна негодяев». Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: «Номах».

– Это что? – спросил я.

– Понимаешь, надо переменить заглавие. Номах это Махно. И Чекистов, ты говорил, я согласен с тобой, выдуманная фамилия. Я переменю. И вообще я в корректуре кое-что исправлю.

– А мне жалко названия «Страна негодяев», – сказал я – «Номах» очень искусственно.

Впоследствии он опять восстановил название «Страна негодяев».

Собирались и еще и еще. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную, окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры.

И не дождался, не захотел корректировать!

Планирующие органы Госиздата наметили сдачу в производство «Собрания стихотворений» в ноябре с тем, чтобы начиная с января выпускать его по одному тому в месяц. В конце ноября все три тома были сданы в набор. В каждое свое посещение Есенин неизменно начинал разговор о своих стихах, спрашивал о корректурах, нетерпеливо ожидал их. Портрет, напечатанный в первом томе, он принес сам и хотел непременно поместить его. Выбрал он и формат книжек и не хотел никакого иного.

Последний раз он принес большое стихотворение «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве». Был он под сильным хмельком. Мы все скопились в одно место. Есенин громко и жарко читал, размахивая листками.

– Это мое первое детское стихотворение, – кончив, сказал он.

Все улыбались и хвалили стихи. А когда он ушел, многие сразу запомнили и твердили отдельные строфы. Первое «Собрание стихотворений» Есенина, таким образом, сделано им самим. От временного невнимания к нему, вызванного больным состоянием поэта, он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен «Радуницы» – первой книги поэта.

– Понимаешь, Евдокимыч, – как-то тревожно похрипывал он, – будет три толстых книжки. Ты только каждое стихотворение пусти с новой страницы, как вот Демьяна Бедного печатаете. Не люблю я, когда стихи печатают, как прозу.

И он быстро перебирал пальцами, будто листал будущие тома своих стихотворений.

На деревянном диванчике

В августе месяце Литературно-художественный отдел перевели по тому же коридору во втором этаже в самый конец. В двух маленьких комнатах, загроможденных шкафами и столами, с дурным архаическим отоплением (устаревшая Амосовская система), с переполнением комнат служебным персоналом и приходящей публикой, было тяжело и душно. И завели: не курить в комнатах. В коридоре у дверей поставили маленький, для троих, деревянный диванчик. На этом диванчике, пожалуй, редкий из современных писателей не провел несколько минут своей жизни.

И почти каждое посещение Есенина тоже начиналось с этого диванчика. Он приходил, закуривал – и выходили в коридор. Всю осень он бывал довольно часто. И как-то случалось так, что чаще всего я встречал его на диванчике, замечая издали в коридоре знакомую фигуру. Вид его был неизбежно одинаков: расстегнутое пальто, шапка или шляпа, высоко сдвинутые кверху, кашне, наклон головы и плеч вперед, размахивающие руки… Какое-то глубочайшее удальство было в нем, совершенно естественное, милое, влекущее. Никакой позы и позировки. И еще издали рассиневались чудесные глаза на белом лице, будто слегка посеревший снег с шероховатыми весенними выбоинками от дождя. Связных воспоминаний я не сохранил, потому что не записывал, не было в этом нужды, казалось, и без записи все запомнится надолго. И все не запомнилось: память оказалась коварна, кое-что она упорно подсказывает, но без должной убедительности. И то, в чем я не уверен, я не пишу. Некоторые моменты запомнились настолько ярко, будто они были сейчас, и я слышу его веселый, и негодующий, и капризный, и отчаянный голос. Эти чисто фрагментарные, мозаичные моменты были таковы.

Как-то в октябре он горько и жалобно кричал на диванчике:

– Евдокимыч, я не хочу за границу! Меня хотят отправить лечиться к немцам! А мне противно! Я не хочу! На кой черт! Ну их, немцев! Тьфу! Скучно там, скучно! Был я за границей – тошнит меня от заграницы! Я не могу без России! Я сдохну там! Я буду волноваться! Мне надо в деревню, в Рязанскую губернию, под Москву куда-нибудь, в санаторий. Ну, их к …! Этот немецкий порядок аккурат-вокурат мне противен!

– А ты не езди, – отвечал я, хотя в душе думал противоположное.

– Не поеду! – решительно махнул рукой пьяный поэт. – Я

давно решил.

На глазах у него были слезы.

– Меня уговаривают все – и Берзина, и Воронский. Они не понимают – мне будет там хуже. Я околею там по России. Ах, Евдокимыч, если бы ты знал, как я люблю Россию! Был я в Америке, в Париже, в Италии – скука, скука, скука! Я люблю Москву. Москва очень хороша ночью, когда луна… Днем не люблю Москву. В деревню я хочу на месяц, на два, на три! Вот тут мы с Воронским поедем дня на четыре в одно место… Это хорошо! За границей мне ничего не написать, ни одной строчки!

В то время, как я слышал, родственники проектировали отправить его в Германию в какой-то особенно оборудованный санаторий. Но он, кажется, действительно отказался ехать.

В другой раз он приходил трезвый и принес несколько стихотворений в первый том «Собрания». Разговор коснулся литературы. Улыбаясь и лучась глазами, Есенин говорил:

– Люблю Гоголя и Пушкина больше всего. Нам бы так писать!

Кто-то, не помню, из бывших при этом писателей сказал:

– Ты в последнее время совсем пишешь под Пушкина.

Есенин не ответил. А кто-то другой добавил:

– Пушкинские темы, рифмы, а выходит по-своему, по-есенински… Выходит здорово, захватывает прозрачностью и свежестью!

Тогда же разговор перекинулся на «попутчиков» и «напостовцев». Писатели тут были одни «попутчики». Есенин внимательно слушал разговор, принявший довольно жестокий характер в оценках отдельных писателей, он больше молчал, будто высматривая что-то за льющимся потоком зряшных фраз. Только один раз он невесело, морщась, сказал:

– Ну-у их! Лелевич писал обо мне, а мне смешно! <…>

Несколько раз он на этом же диванчике рассказывал мне о младшей своей сестре Шуре, всегда с неизменной любовью и словно бы с каким-то удивлением. В разное время он меня раз пять знакомил с ней, держа у ней на плече руку и заглядывая сверху в глаза. Смеялась молодая девушка, смеялся я.

На второй день после смерти наркомвоенмора М.В. Фрунзе тут же разыгралась такая сцена. Есенин пришел пьяный до последней степени: он шатался и даже придерживался за стены. Возбужденный, дрожащим, захлебывающимся голосом, таща и дергая полу своего пальто, Есенин кричал на весь коридор:

– Это он, Фрунзе (где-то на юге Есенина обокрали. В Баку какое-то общество имени Фрунзе поднесло Есенину пальто – *Примеч. сост.*) дал мне пальто! Мне жалко, жалко его! Я плачу. <…>

В это время, должно быть, на крик, вышли из нашего отдела два молодых еврея-канцеляриста. С одним из них он знаком был по Баку. Этот бакинский юноша поздоровался с ним, правда, несколько фамильярно. Есенин приветливо подал ему руку. Юноша дальше совершил новую неосторожность. Опершись на плечо Есенина, сидевшего со мной на диванчике, он спросил:

– Сергей, ты отдал дома тысячу, которую вчера получил у нас? А? Отдал?

Юноша по молодости лет сунулся не в свое дело. Есенин криво ухмыльнулся и как-то беспомощно пробормотал:

– Да, да! Я отдал!

А потом стал внимательно, щурясь, глядеть на него и совершенно неожиданно в величайшем раздражении закричал:

– Ты, Левка, ж-жид! Пош-шел вон! Убирайся!

Юноша побелел, повертелся и ушел. Другой еврей продолжал в сторонке курить. Есенин злобно шипел:

– Ж-жидовская морда! Что ему от меня надо? Ж-жид пархатый! Мы тут, Евдокимыч, разговариваем с тобой о своем деле, а он… он стоит! Кто его звал? – И опять начал говорить о Фрунзе: – Мне жалко, жалко! Я знал его. Замечательный был человек!

Через две-три минуты мы зашли в отдел. Скоро Есенин собрался уходить. Вдруг он подошел к «Левке», работавшему за столом, обнял его, поцеловал и радушно сказал:

– Левушка, ты приходи к нам сегодня!

Юноша бывал у Есенина, и они условились о встрече.

Накануне

Есенин редко приходил один, а всякий раз с новыми людьми. За два года я перезнакомился через него по крайней мере с двадцатью-тридцатью людьми, которых потом ни разу не встречал. Все они были на «ты» с ним, чаще всего производили неприятное впечатление и вызывали к себе какое-то недоверие. По большей части эти люди молчали, глаза у них заискивающе бегали, или эти люди были чванливы, грубо подчеркивая свою близость к знаменитому поэту. Чрезвычайно редко приходили с ним люди, которые могли держаться естественно.

Зрелище это было гнусное, отвратительное… Невольно просыпались в душе жалость к Есенину, окружающему себя «людской пустотой», и враждебность к его свите. Тем более переживалось это чувство, что поэт, по крайней мере внешне, был нежен к своим «плавающим и путешествующим» спутникам. И обычно наутро после таких «выходов» Есенина ползли слухи, что поэт прокутил все деньги, спутники исчезли, у поэта идет горлом кровь, дни его сочтены, лечиться он не хочет, сбежал с консилиума и др. В течение 1925 года у всех, для кого Есенин был несравненным и первоклассным лириком нашего времени, для кого он был дорог как обаятельное человеческое видение, мелькнувшее необыкновенными своими глазами, добрейшей улыбкой, стройнейшим и легчайшим станом, были душевная тревога и печальное предчувствие скорой развязки. Было до очевидности ясно, что поэт горел каким-то внутренним огнем, растравлял этот огонь, тушил в вине слезы: простым и банальным запоем ничего объяснить тут было нельзя. Пьяный разгул Есенина не мог ввести в заблуждение, он не мог казаться случайным, под ним грустно видели тягчайшую душевную драму, тайну которой мы не знаем, несмотря на сотни посмертных «вещающих» статей, и которую едва ли мы когда узнаем. Жестокий самосуд, произведенный поэтом ночью 28-го декабря, окончательно и всех убедил в серьезности его страданий. Предотвратить развязку, видимо, было невозможно: поэт шел к ней, глубоко тая созревающее намерение от самых близких и родных людей. И никому, никому он не доверил своей тайны: внешне он был как бы со всеми нараспашку, весь напоказ, даже вызывал подозрения в глубине своих переживаний, а духовно, внутренне, оставался только с собою, с глазу на глаз, наедине. Но как было радостно, когда узнавали: «Есенин не пьет, четыре дня трезвый, работает, пишет, в одно утро написал несколько стихотворений!..» «Передышка» обманывала, любящие люди жадно начинали верить

в возможность устойчивой, прочной перемены в его жизни, замирали страхи, надежду хотелось усилить – удвоить, учетверить. Но больше было таких, кто недоверчиво качал головой, морщился от «прекраснодушия» легковерных друзей и безнадежно махал рукой.

Помню, такой был случай. Разговаривали в одной редакции об Есенине.

«Не пьет», «не пьет», «едет лечиться, – говорили писатели и родственники, – кажется, все обойдется. Исследование врачей дало благоприятные результаты».

Известный критик, бывший тут, вдруг задумался, горько улыбнулся и сказал:

– Ерунда! Он вчера был у меня. Принес бутылку… и пил стаканами.

Кто-то невесело засмеялся – и непоправимое, безнадежное опять нависло над обманувшимися людьми.

Около половины декабря Есенин пришел в сопровождении нового незнакомого человека. Я знал, что он находится в психиатрической клинике, куда, как рассказывала тогда же жена Софья Андреевна, он захотел сам. Должно быть, видя мое удивление на лице, Есенин с обычной своей милейшей улыбкой сказал:

– А я из клиники вышел на несколько часов, потом опять обратно. Вот и доктор со мной. Мне, понимаешь, Евдокимыч, там нравится. Я пришел поговорить с тобой об одном деле.

Встретились мы на знакомом диванчике. Я не понял, какой его доктор сопровождает, и, по правде сказать, принял это как шутку. Доктор остался сидеть на диванчике, а мы вошли в комнату и сели к моему столу. Как будто бы Есенин был немного пьян. Он наклонился ко мне и почему-то, мне показалось, стесняясь, сказал:

– Понимаешь, Евдокимыч, я не хочу никому давать моих денег – ни жене, ни сестре, никому…

– Ну, и не давай, – говорю я. – Что тебя это беспокоит?

Обычно ежемесячные выплаты по тысяче рублей приходилось выдавать по доверенностям Есенина то жене, то двоюродному брату Илье Есенину. До женитьбы поэта на С.А. Толстой деньги получала сестра его Е.А. Есенина. В целях сохранения денег, когда приходил за ними поэт в нетрезвом состоянии, мы считали своим долгом денег ему не выдавать. Под благовидным предлогом я быстро сходил в нижний этаж, в финансовый сектор, предупреждал наших товарищей по работе, в кассе деньги Есенину не выдавать, или брал из кассы уже выписанный ордер. В случаях настойчивости поэта затягивали выдачу до 3 часов дня,

затем выдавали ему чек в банк, когда там в этот день уже прекращались операции. В последнем случае была надежда, что поэт наутро протрезвится и деньги не пойдут прахом. Но еще в начале осени я договорился с поэтом, чтобы он сам вообще не ходил за деньгами, не отвлекался от работы… Есенин, смеясь, согласился и поручил получать деньги брату Илье, который и ходил за ними с тех пор. Иногда этот порядок нарушался: приходили с его доверенностями жена, знакомые. Почти всегда эти выдачи выражались в нескольких десятках рублей, а по растерянному виду получателей казалось, что где-то за стенами бушевал поэт и требовал денег или занемогал, и деньги были нужны на докторов и на лекарства.

– Вот, Евдокимыч, – продолжал Есенин, – кто бы ни пришел с моей запиской, ты не давай. Я навыдавал их не знаю и кому. Я к тебе скоро зайду. Мы это оформим.

В это время доктор заглянул в дверь. Есенин заторопился и, приветливо улыбаясь ему, сказал:

– Я сейчас, сейчас! Потом повернулся ко мне и с серьезным видом сказал: – Мне долго нельзя. Мне пора домой. Я на три часа вышел.

Провожая его до дверей, я спросил:

– Ты долго там думаешь отдохнуть? Смотри, как ты уже окреп! Посвежел!

– Не-е-т, – вдруг раздраженно бросил Есенин, – мне надоело, над-д-д-оело! Я скоро совсем выйду! – И остановился в раскрытых дверях: – Ты получил от Кати письмо к тебе? Я послал из клиники. Там и стихи в «Собрание».

– Нет.

– Она принесет тебе… Я ей скажу. Я ей скажу. Когда мне корректуру дашь?

– Скоро. Все тома уже сданы в набор.

Есенин, улыбаясь, толкнул шире дверь – и вышел.

А 21 декабря он пришел снова, совершенно пьяный, злой, крикливый, и опять заговорил о том же.

Я предложил ему подать заявление, и он под мою диктовку, клюя носом, трудно написал:

Лит. отдел Госиздата.

Прошу гонорар за собрание моих стих<отворений>, начиная с декабря 25 г., выдавать мне лично. Настоящим все доверенности, выданные мною разным лицам до 1-го (первого) декабря, считать недействительными.

С. Есенин. 19–21/XII – 25 г.

Я не мог удержаться от смеха, когда Есенин, написав цифру 1, вдруг остановился, придвинулся ближе к бумаге и тщательно вписал в скобках (первого). Он тоже засмеялся, вертя в руках ручку, не державшуюся в нужном положении.

За Пять Дней

В десять часов утра 23 декабря я пришел на службу. Секретарь отдела сказал:

– Здесь с девяти часов Есенин. Пьяный. Он уезжает в Ленинград. Пришел за деньгами. Дожидался вас.

Столь необычно раннее появление Есенина, он всегда появлялся во второй половине дня, уже встревоживало.

– Он выпивши или пьян? – спросил я.

– Пьяный. Вот сейчас только вышел. Должен был встретиться с вами в коридоре. Он ушел вниз и будет сидеть у кассы.

Не скрою: мне было нехорошо. Я не любил визитов Есенина в таком состоянии, тяготился ими, всегда стремился выпроваживать его из отдела. Когда он умер, я корил себя, мне было жалко, что я это делал, но, к несчастью, это было непоправимо.

В тревоге и ожидании я сел на диванчик. Скоро в глубине длинного госиздатского коридора показался Есенин. Пальто было нараспашку, бобровая шапка высоко сдвинута на лоб, на шее густой черного шелка шарф с красными маками на концах, веселые глаза, улыбка, качающаяся грациозная походка… Он был полупьян. Поздоровались. И сразу Есенин, садясь рядом и закуривая, заговорил:

– Евдокимыч, я вышел из клиники. Еду в Ленинград. Совсем, совсем еду туда. Надоело мне тут. Мешают мне. Я развелся с Соней… с Софьей Андреевной. Поздно, поздно, Евдокимыч! Надо было раньше. А Катька вышла замуж за Наседкина. Ты как смотришь на это?

И Есенин близко наклонился ко мне.

– Что же, – ответил я, – это твое личное дело. Тебе лучше знать. Я не знаю…

– Да, да, – схватил он меня за руку. – Это мое дело. К черту! И лечиться я не хочу! Они меня там лечат, а мне наплевать, наплевать! Скучно! Скучно мне, Евдокимыч!

Веселое, приподнятое и бесшабашное настроение прошло у Есенина. Не уверен твердо, боюсь, что последующие события обострили во мне это впечатление, но мне кажется, он тогда печально и безнадежно как-то вгляделся в меня. Я отнесся легко к этой фразе, приписывая ее случайному душевному состоянию, и даже отшутился:

– Не тебе одному скучно. Всем скучно.

– Скучно, скучно мне! – продолжал восклицать Есенин, недовольно мотая головой и глядя в пол. – Да-да, – вдруг опять

он заговорил, – ты получил письмо?

– Нет.

– Ах! Я же ей, Катьке, дал снести: там стихи в «Собрание». Что же она не несет? Я ей скажу… Она принесет. Евдокимыч, я еду в Ленинград: мне надо денег.

– Деньги выписаны, Сережа, – сказал я.

Есенин лукаво и недоверчиво улыбнулся, чуточку выждал, хитро взглянул на меня и растерянно, вполголоса, выговорил:

– Я спрашивал. В кассе говорят – нет ордера. Ты забыл спустить в кассу?

И опять улыбка, ожидающая и недоверчивая. Я тоже усмехнулся на его недоверие, а главное – на хорошо налаженную машину в финчасти: там уже без моего предупреждения, а я не ожидал в этот день прихода самого поэта за деньгами, ему отказали. Ордер же был давно спущен.

– Ты, Евдокимыч, выпиши сейчас, – просил Есенин. – Нельзя ли выписать сейчас?

– Зачем же? – отвечал я. – Ордер там. Это ошибка. Я тебя не буду обманывать. Вот удостоверься!

– Не надо, не надо! – закричал Есенин. – Я тебе верю!

Но я уже вошел в комнату, взял ордерную книжку и показал ему корешок: ордер был выписан 15 декабря. До этого дня Есенин был два раза: около половины декабря и 21-го, но так как состояние его было в первый раз подозрительным, а 21-го невменяемым, деньги ему не выдали тогда.

Есенин успокоился и просветлел.

– Видно, много тебя, Сережа, обманывали, – серьезно говорю я, – и ты перестал верить, когда тебя не обманывают?

– Нет-нет, я тебе верю, – заторопился с ответом Есенин. – Значит… мне выдадут?

– Конечно. Но ты очень рано пришел. Деньги же выдают в два часа дня. Ты бы куда-нибудь сходил.

Поэт задумался и спохватился, сдвигая на глаза шапку:

– Верно. Мне надо сходить к Воронскому проститься. Люблю Воронского. И он меня любит. Я пойду в «Красную новь». Там мне тоже надо получить деньги. Раньше, понимаешь, Евдокимыч, у тебя нельзя получить?

– Я с удовольствием бы, Сережа, но это от меня не зависит. Раз денег нет в кассе, что же делать!

– Ну, хорошо. Я подожду.

Была в Есенине редкая в литературных кругах уступчивость в денежных делах. Современный писатель чаще всего неотвязно настойчив в получении гонорара, криклив, жалок. Тяжелое материальное положение извиняет эту писательскую черту, но в

Есенине эта покорливость обстоятельствам была обаятельной. Он соглашался ждать, а те, которые ему отказали, вдруг сами, по своему почину, начинали волноваться, устраивать, бегать, просить, убеждать, даже лгать, лишь бы выдать ему деньги. Думаю, что черта эта у Есенина была органической, а не правильным психологическим расчетом. Поступил так и я на этот раз. Попытка оказалась неудачной: в кассе были гроши.

Поэт подождал меня на диванчике и нетерпеливо спросил:

– Ну что, можно?

Я развел руками и сел рядом.

– Ты мне корректуры вышли в Ленинград, – погрустнев, сказал Есенин. – Ты говорил, стихи в наборе?

– Да. Сдали в ноябре. Уже идет набор: не сегодня завтра будут гранки. А куда тебе выслать? Ты где там остановишься?

Есенин немного подумал.

– Я тебе напишу. Как устроюсь, так и напишу. Я тебе буду писать часто. Да, я тебе вышлю точный адрес. Остановлюсь я… у Сейфуллиной… у Правдухина… у Клюева. Люблю Клюева. У меня там много народу. Ты мне поскорее высылай корректуру.

– Как только придут из типографии, в тот же день и направлю тебе. Ты внимательно погляди на даты. Помнишь, ты в некоторых сомневался?

– Я… я все сделаю. Вот Катька не принесла тебе письма, я там послал семь новых стихотворений: «Стихи о которой». Не поздно их будет в первый том, в самый конец? (письмо было доставлено мне Е.А. Есениной только в конце апреля 1926 года. «Стихи о которой» переданы не были, почему и не вошли в первый том «Собрания», как того хотел поэт. Написано оно на листке из блокнота карандашом. Если не ошибаюсь, это, кажется, последнее предсмертное письмо, написанное С.А. Есениным. Несмотря на некоторую шутливую интимность письма, считаю необходимым привести его полностью.

> «Милый Евдокимыч! Привет тебе и тысячу пожеланий за все твои благодеяния ко мне. Дорогой мой! Так как жизнь моя немного перестроилась, то я прошу тебя, пожалуйста, больше никому денег моих не выдавать, ни Илье, ни Соне, кроме моей сестры Екатерины. Было бы очень хорошо, если б ты устроил эту тысячу между 7 – 10 дек., как ты говорил. Живу ничего. Лечусь вовсю. Скучно только дьявольски, но терплю, потому что чувствую, что лечиться надо, иначе мне не спеть, как в твоем «Сиверко», «пил бы да ел бы, спал бы да гулял бы». На днях пришлю тебе лирику «Стихи о

которой». Если не лень, черкни пару слов с Екатериной. Я ведь теперь не знаю, чем пахнет жизнь. Жму руку.

Твой С. Есенин. 6/XII 1925 г. – Примеч.

– Нет, но надо скорее. Пока гранки, вставить можно. Ты будешь читать корректуру, вместе с ней и вышли эти стихи.

– Хорошо. Я пришлю. Стихи, кажется, неплохие. Я в клинике написал.

– А как твоя поэма «Пармен Крямин»?

При распределении стихотворений по томам для издания Есенин обещал доставить поэму «Пармен Крямин», в которой, по его тогдашним предположениям, должно было быть 500 строк. Я о ней и напомнил теперь.

– Я ее вышлю, только дам другое заглавие. Пармен, пожалуй, нехорошо. В Ленинграде я допишу ее. Она не готова. Тут мне мешают. Напишу четыре строчки, кто-нибудь придет… В Ленинград я совсем, навсегда…

– Даты не позабудь.

– Нет-нет! И даты – все проставлю. Раз «Собрание», надо по-настоящему сделать. Я помню все стихи. Мне надо остаться одному. Я припомню. А денег ты никому, кроме меня, не давай…

– Будем высылать тебе в Ленинград.

– Надо бы биографию в первый том, – обеспокоенно сказал Есенин. – Выкинь ты к черту, что я там сам написал! Ложь все, ложь все! Если можно, выкинь! Ты скажи заведующему Николаеву. Напиши ты, Евдокимыч, мою биографию!

– Как же написать – ведь я совершенно не знаю, как ты жил. Ты теперь уезжаешь в Ленинград. Тут надо бы о многом расспросить тебя, а где же теперь?

Есенин сумрачно задумался – и вдруг, оживляясь и злобясь на что-то, закричал, мне казалось, с похвальбой и презрением:

– Обо мне напишут, напи-и-шут! Много напи-ишут! А мою автобиографию к черту! Я не хочу! Ложь, ложь там все! Любил, целовал, пьянствовал… не то… не то… не то!.. Скучно мне, Евдокимыч, скучно!

– Тебя, кажется, хорошо знает Касаткин? – спросил я. – Вот бы кому написать.

Настроение Есенина было чрезвычайно неустойчивое: от мрачности он быстро переходил в самое благодушное состояние.

– Да, Касаткин, – весь заулыбался он нежнейшим вниманием к этому имени. – Да-да. Люблю его. Ты не знаешь, какой это парень… дядя Ваня… Мы с ним давно-о… давно-о! Давнишний мой друг! Черт с ней, с биографией. Обо мне напишут, напи-и-шут!

В это время я обратил внимание на его полупьяное, но очень свежее лицо и, помню, ясно подумал о том, что он поправился в клинике.

Есенин заметил мой взгляд и, улыбаясь, сказал:

– Тебе нравится мой шарф?

Он подкинул его на ладони, оттянул вперед и еще раз подкинул.

– Да, – говорю, – очень красивый у тебя шарф!

Действительно, шарф очень шел к нему, гармонично как-то доканчивая белое и бледное лицо поэта. Шарф кидался в глаза тончайшим соединением черного тона шелка с красными маками, спрятавшимися в складках, будто выставлявшими отдельные лепестки на волнистой линии концов. Я потрогал его рукой.

Продолжая радостно улыбаться, Есенин заметил:

– Это подарок Изадоры… Дункан. Она мне подарила. – Поэт скосил на меня глаза. – Ты знаешь ее?

– Как же. Лет двенадцать назад я бывал на ее выступлениях здесь, в Москве.

– Эх, как эта старуха любила меня! – горько сказал Есенин. – Она мне и подарила шарф. Я вот ей напишу… позову… и она прискачет ко мне откуда угодно… – Он опять погладил шарф несколько раз. – Я поеду совсем, совсем, навсегда в Ленинград, – твердил он дальше, – буду писать. Я еще напишу, напишу! Есть дураки… говорят… кончился Есенин! А я напишу… напишу-у! Лечить меня, кормить… и так далее! К черту!

– А ты гляди, Сережа, как набрался сил, – взглянув на него, сказал я, – клиника здорово тебе помогла. Посидел бы еще с месяц, окреп бы совсем для работы. Лицо у тебя стало свежее, спокойное.

Помню, он внимательно всмотрелся в меня и, будто завидуя и будто спрашивая у меня, сказал:

– Мне бы твое здоровье, Евдокимыч!

Я засмеялся.

– Это видимость одна, Сережа. У меня целая коллекция болезней. Вид – обманчив.

– Ну да! – недоверчиво протянул Есенин. – А может быть! Я ничего не говорю! Может быть!

В это время вышел из отдела Тарасов-Родионов. Меня кто-то вызвал по телефону. Я ушел в комнату. Пока я разговаривал по телефону, я слышал, Есенин что-то кричал с Тарасовым-Родионовым. Потом они ушли. Я сел за свою обычную работу.

В течение дня Есенин несколько раз заглядывал в комнату, повторял о своем ленинградском адресе и уходил. Потом около часу дня пришел в отдел двоюродный его брат Илья и сказал:

– Денег не выдают.

Я спустился по лестнице в кассу. В прихожей финсектора поэт сидел на лавочке у окна среди шоферов и ожидавшей денег публики. Есенин пьяно моргал и что-то шептал губами. Его разглядывали. Он поднял глаза, заметил меня, замахал рукой, трудно поднялся, и мы встретились.

– Евдокимыч, денег не привезли! Я с утра сижу. Мне надоело!.. Понимаешь, надо-о-е-л-ло!

В голосе его было раздражение. Сделать, однако, я ничего не мог: банк обещал выдать деньги только около двух-трех часов дня.

Изредка я наведывался в кассу: Есенин неотлучно сидел на лавочке. Наконец в четвертом часу дня деньги привезли, но в незначительном количестве, выдавали по мелочам. Единственный раз мне почему-то хотелось выдать Есенину деньги, а не чек, но пришлось выписывать опять чек. У кассы стояла очередь. Я спустился к кассе, отыскивая Есенина. Он держал в руках чек, застегивался и серьезно говорил:

– Евдокимыч, денег нет. Вот дали бумажку. Ну, ладно! Билет у меня есть. Я уеду. Завтра Илья получит в банке и переведет мне. Спасибо. Я обойдусь.

Около него стоял застенчивый огромный Илья, тревожно не сводивший с него глаз. Этот замечательный парень, наблюдал я всегда, относился к поэту с редчайшей привязанностью и любовью. Достаточно было мельком поглядеть на его большие глаза, грустно устремленные на поэта, чтобы это почувствовать. И я всегда это чувствовал. Он любил его крепко и носил «фонари» под глазами от пьяной братской руки. Илья мне сам рассказывал об этом.

В очереди у кассы в толпе были писатели: Пильняк, Герасимов, Кириллов.

– Ну, прощайте! – пошатался Есенин с серьезным и сосредоточенным видом.

Он обнял попеременно Пильняка, Герасимова, меня, расцеловались… Я шутливо толкнул его в спину «для пути».

– Жди письма, – сказал, уходя, Есенин и, свесив голову на грудь, заковылял к выходу пьяными нетвердыми шагами.

Было грустно, не по себе, на душе было нехорошо. Конечно, никто не предполагал, что уже никогда не услышит этого с хрипотцой голоса, не увидит пошатывающейся дорогой фигуры, носившей в себе редчайший дар и необъяснимое личное очарование.

Лучше бы, лучше бы ходил он среди нас всегда пьяный, крикливый, неприятный, но только ходил бы!

Письмо из Ленинграда не успело прийти: точный адрес был не нужен.

Январь – февраль 1926 г.

Георгий Феофанович Устинов
Мои воспоминания о Есенине

Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников / Сост. общ. ред. Н.И. Шубниковой-Гусевой. М.: ТЕРРА; Республика, 1997.

Щедро и гармонически цельно был одарен природой рязанский юноша Сергей Есенин. В юности у него были золотые курчавые волосы, светло-синие глаза, милое, влекущее, всегда улыбчивое лицо, скромная и нежная приветливость ко всему и ко всем.

Помню голодную столовку с кониной на Тверской, против «Алатра», в которой собирались самые бедные писатели, поэты, журналисты и актеры.

Это был конец 1918 года. Здесь я впервые встретил его в поддевке, с шарфом, два раза перекинутым вокруг шеи, в аккуратных «гамбургских» сапогах с прямыми голенищами, немного робкого на вид, всему улыбающегося, немного смешного «старого» стилизованного деревенского грамотного юношу, попавшего в большой город за счастьем. Познакомил меня с ним Василий Каменский. Каменский сидел на табуретке посреди пустой комнаты с гармошкой и играл деревенские мотивы под пермские частушки. И когда он играл и пел, как глухарь на току, не видел и не слышал вокруг себя ничего. Есенин стоял около и с вниманием слушал пермяка с его пермяцкими песенками, которые, вероятно, не были похожи на рязанские. И улыбался.

Здесь, в этой литературной столовке, мы ежедневно кормились кониной, жилами которой можно было засупонивать хомут, и протухшими сушеными овощами, оставшимися от интендантских складов. И изредка, как особую роскошь, получали маленький скроечек черного хлеба. В начале 1919 года Сергей Есенин жил у меня в гостинице «Люкс», бывшей тогда общежитием Наркомвнудела, где я имел две комнаты.

Мы жили вдвоем. И во всех сутках не было ни одного часа, чтобы мы были порознь. Утром я шел служить в «Центропечать», где заведовал лекционным отделом. Есенин сидел у меня в кабинете и читал, а иногда что-нибудь писал. Около 2 часов мы шли работать в «Правду», где я был заведующим редакцией. Есенин сидел со мною в комнатке и прочитывал все газеты, которые мне полагались. Вечером, кончив работу, мы шли обедать в случайно обнаруженную «нелегальную» столовку на Среднем Гнездниковском, ели сносный суп, иногда даже котлеты

– самые настоящие котлеты, – за которые платили слишком дорого для наших тогдашних заработков. Потом приходили домой и вели бесконечные разговоры обо всем: о литературе и поэзии, о литераторах и поэтах, о политике, о революции и ее вождях, впадали в жуткую метафизику, ассоциировали Землю с женским началом, Солнце – с мужским, бросались мирами в космосе, как дети мячиком, и дошли до того, что я однажды в редакции пустился в спор с Н.И. Бухариным, защищая нашу с Есениным метафизическую теорию. Бухарин хохотал, а я сердился на его «непонимание».

Есенин улыбался:

– Кому что как кажется! Мне, например, месяц кажется барашком.

Из окон нашей квартиры видны были белые, лежащие за Москвой, поля. Каждый вечер мы смотрим закат и дивимся необыкновенному количеству галок, которые громадной черной тучей носятся над полями и городскими улицами. Этих галок Есенин помнил до своей кончины.

– Помнишь, сколько было галок? – несколько раз спрашивал он меня в свой последний приезд в Ленинград. – Я никогда их не забуду!

Вскоре наше общество в «Люксе» увеличилось. Приехал с И. Гусев-Оренбургский, которому посчастливилось достать здесь комнату. Теперь наша метафизическая теория приобрела еще одного глашатая.

Мы с Есениным ходим по комнате, Гусев-Оренбургский сидит на диване, тихонько наигрывая на гитаре. Есенин говорит:

– Женщина есть земное начало, но ум у нее во власти луны. У женщины лунное чувство. Влияние луны начинается от живота книзу. Верхняя половина человека подчинена влиянию солнца. Мужчина есть солнечное начало, ум его от солнца, а не от чувства, не от луны. Между Землей и Солнцем на протяжении мириадов веков происходит борьба. Борьба между мужчиной и женщиной есть борьба между чувством и разумом, борьба двух начал – солнечного и земного… Когда солнце пускает на Землю молнию и гром, это значит, что Солнце смиряет Землю…

– Да-да! Это удивительно верно! – восторженно продолжает Есенин. – Деревня есть женское начало, земное, город – солнечное. Солнце внушило городу мысль изобрести громоотвод, чтобы оно могло смирять Землю, не опасаясь потревожить город. Во всем есть высший разум.

В это время Сергей Есенин написал «Пантократор», являющийся поэтическим выражением его метафизической теории.

Кроме «Пантократора» он написал целый ряд лирических стихов, «Небесного барабанщика», теоретическую статью «Ключи Марии» и др. В это время выходила еженедельная газета «Советская страна», которую я редактировал и в которой Есенин напечатал несколько своих стихотворений: «Песнь о собаке», «Ложно-классическая Русь». Вскоре, на четвертом номере, газета была закрыта, стихи печатать Есенину было негде, средств не было никаких, но все же мы кое-как перебивались. А потом пришла некоторая поддержка от издательства ВЦИК, которое купило у Есенина томик стихов, а у меня два тома рассказов. Издательство деньги нам выдало, но не издало ни строки ни у меня, ни у Есенина. Мои рассказы были потеряны навсегда, а стихи Есенина остались живы только потому, что он все их помнил наизусть… впрочем, как и все, что он написал за свою короткую жизнь. У Есенина была исключительная память. Он помнил почти всего Блока и, вероятно, не меньше половины стихов Пушкина.

В «Ключах Марии» Есенин раскрыл все секреты своей поэтической лаборатории, и когда он прочитал мне рукопись, я начал уговаривать его, чтобы он не печатал ее.

– Почему?

– Как почему? Да ты тут выдаешь все свои тайны!

– Ну так что же? Пусть! Я ничего не скрываю и никого не боюсь. Пусть кто хочет пишет так же, как и я. Я думаю, что это не будет плохо…

И немного позднее «Ключи Марии» были изданы «Трудовой артелью писателей».

Как-то на улице я встретил Виктора Сергеевича Миролюбова – известного редактора и издателя «Журнала для всех». Он захотел повидаться также и с Есениным. Миролюбов сидел у нас долго. Есенин читал ему новые стихи. Миролюбов внимательно слушал, но все смотрел с какой-то неловкостью в сторону. Когда Есенин прочитал ему «Пантократора», Миролюбов тяжело вздохнул и сказал:

– Фона нет, Сергей Александрович. Где у вас фон? Без фона никакое литературное произведение не имеет цены. Вы сбились с своей дороги.

Есенин посмеялся и тут же прочитал свои новые лирические стихи с «фоном». Миролюбов пришел в восторг:

– Вот это настоящее! Вот это, Сергей Александрович, настоящая поэзия!

– «Пантократор» тоже настоящая, только он вам чужд, потому что у вас консервативный подход. Вот они, – Есенин показал на меня и Гусева-Оренбургского, – они вот понимают!

Действительно, мы «понимали», потому что нам нравилось все, что бы ни написал Есенин, в особенности когда свои стихи читал он сам.

Помню, в один из вечеров, когда мы смотрели закат, пришел Иван Касаткин. Галки носились с криком, заслоняя уходящее солнце, словно его занавешивали черным пологом. Есенин, по нашей просьбе, стал читать «Пантократора». Касаткин слушал, потом отошел к окну, поднес руку к глазам. Он не мог удержать слез.

Таял закат. Тучи галок унеслись и распростерлись над московскими полями.

Звонит весенняя капель. Потеплел ветер, на тротуарах обледеница. У входа в «Центропечать» звучно гудит водосточная труба, из нее бежит на тротуар веселая весенняя струя. Мы идем «послужить». Есенин молчалив, он о чем-то сосредоточенно думает.

– О чем это ты?

– Да вот, понимаешь ли, консонанс! Никак не могу подобрать. Мне нужен консонанс к слову «лопайте».

Мы подходим к «Центропечати». И как раз на той ледяной луже, которая образовалась от центропечатской водосточной трубы, Есенин поскользнулся и сел в лужу.

– Нашел! – кричит он, сидя в ледяной мокроте и хохоча на всю Тверскую. – Нашел!

И когда мы поднимались по лестнице в «Центропечать», он мне продекламировал:

– Слушай, вот он – консонанс:

Нате, возьмите, лопайте
Души моей чернозем.
Бог придавил нас ж. ой,
А мы ее солнцем зовем…

Интересно отметить, что в ту пору и раньше элементы любви и эротики совершенно отсутствовали в есенинских стихах.

И только в последние годы в стихах Есенина появился его особый любовный и эротический элемент.

Вообще у Есенина отношение к женщине было глубоко своеобразное. Он здесь был таким же искателем, как и в поэзии. Есенин женился рано, пережил какую-то глубокую трагедию, о которой говорил только вскользь и намеками даже во время интимных разговоров вдвоем, когда он открывался настолько, насколько позволяла ему его вообще скрытная, часто двойственная натура.

У Есенина был болезненный, своеобразный взгляд на женщину и на жену. В этом взгляде было нечто крайне мучительное. Когда он сошелся с Дункан, при одной из встреч я по поводу этого брака с сомнением покачал головой.

Есенин смутился, потом с легким озлоблением сказал:

– Ничего ты не понимаешь! У нее было больше тысячи мужей, а я – последний!..

Мне как-то удалось выхлопотать для Есенина в «Люксе» отдельную комнату (№ 4). Комендантом «Люкса» был ограниченнейший человек К.

Слыша, что в моей квартире и в квартире Есенина часто раздается чей-то повышенный голос, комендант решил, что у нас происходят оргии, и установил за обоими номерами наблюдение, приказав подслушивать даже наши разговоры по телефону. Комендант принял за оргии декламацию Есенина, который действительно читал свои стихи достаточно громко, чтобы слышали его голос даже в коридорах. И вот однажды, когда я ушел в редакцию, а в моей комнате оставались Есенин, девица В.Р. и моя жена, Есенин вдруг почувствовал странное беспокойство. У него была какая-то болезненная чуткость.

– Нас подслушивают! – сказал Есенин, побледнев.

– Брось, Сережа, тебе показалось!

– Нет, не показалось.

И Есенин стремительно выбежал в коридор.

Действительно, у дверей подслушивали. Резким движением открыв дверь, Есенин чуть не сшиб с ног наклонившегося к замочной скважине дежурного из охраны. Есенин пришел в исступление. Он схватил дежурного за горло и начал душить. Тот едва вырвался и убежал доложить о случившемся коменданту. Комендант рассудил просто:

– Он тебя взял за горло?

– Не то что взял, а чуть не задушил!

– Оружие было при тебе?

– Так точно.

– Почему же ты его не застрелил?

Дежурный охраны молчал. Тогда комендант К. распорядился немедленно уволить его «за нарушение устава» – за то, собственно, что он не застрелил Есенина. Вместе с тем у Есенина была немедленно взята комната, он опять несколько дней жил у меня, а вскоре комендант отдал распоряжение охране совсем не пускать в «Люкс» Есенина, даже ко мне.

Через несколько дней мне, однако, удалось настоять, чтобы комендант отменил свое распоряжение о Есенине. Есенина снова пускали ко мне, но только не разрешали ночевать. Впрочем,

удалось преодолеть и это препятствие, но… ко мне приехал писатель Скиталец и Есенин стал бывать у меня реже. Есенин не любил его. За что? Трудно сказать. Он просто не любил этого громадного, мрачного и скрытного человека.

– Что ты с ним возишься? – как-то сказал мне Есенин. – В нем ничего нет… это труп!..

Он вообще своеобразно резок был в своих определениях, в особенности о тех людях, которых не любил.

Теперь Есенин жил у Кусикова, а Скиталец жил у меня. Есенин приходил все реже и реже. Он окончательно погрузился в свой имажинизм и был в кругу только своей поэтической группы. Иногда мы встречались в «Домино», иногда в кабачке на Георгиевском, где продавали спирт. В это время Есенин начал довольно сильно пить.

Помню один случай в этом кабачке. Сидим: Есенин, Скиталец, Кусиков, Петр Маныч и я. Петр Маныч, изумительный рассказчик, рассказывает содержание своей новой повести, которую он называл, кажется, «Варсонофий-Невходящий-во-Храм». Это был замечательный рассказ о монахе, совершившем какое-то тяжкое преступление и в муках искупающем свой грех. Он не может войти во храм до тех пор, пока не кончит наложенного на него искуса. Маныч рассказывал долго, водка была забыта, Есенин слушал, впрочем, как и все мы, с напряженным вниманием. Когда Маныч кончил повествование, Есенин с пылающими глазами прочитал свою «Марфу Посадницу». И прочитал так, что даже для Есенина такое чтение можно было считать исключительным по силе. Водка по-прежнему стояла нетронутой. Чтение Есенина оставило едва ли меньшее впечатление, чем рассказ Маныча. Есенин почувствовал искренность нашего восторга, закинул голову, вытянул руку и прочитал еще несколько стихотворений. Он был сильно возбужден. И, завладев общим вниманием, он тут же рассказал всем нам свои великие муки, когда он был солдатом, как издевались над ним офицеры, когда он вынужден был жить у какого-то полковника, приближенного ко двору, как заставляли его писать хвалебные стихи и оды царю и придворной камарилье. Есенин отказался и попал в дисциплинарный батальон, откуда его вырвала только революция…

Во время рассказа возбуждение Есенина достигло крайних пределов. В один из моментов наиболее сильного напряжения Есенин схватил стакан, покрыв его своей широкой ладонью, и из всей мочи грохнул им по столу. И только, может быть, потому, что стакан был хрустальный, Есенин не перерезал себе вены. Стакан разлетелся в пыль, сделав только легкие царапины на

ладони.

Однажды я был у него на именинах. Есенин еще до прихода гостей напился. Когда начали собираться гости, он вел себя бессмысленно: лез за корсаж к женщинам, целовался, бранился при них матерно, пьяно смеялся, потом ушел в кухню и лег там на сырое, только что отжатое белье и так проспал весь свой именинный вечер.

Появилась Дункан, Есенин почти на два года пропал за границей…

Он приехал другим, еще более надломленным и, кажется, еще более буйным. Встречаться с ним становилось тяжелее с каждым разом. Он стал невыносим, это был совсем другой Есенин – не тот, которого я знал в 1919 году, с его живым, ищущим умом, с его метафизической теорией, – это был новый, как-то сильно и сразу состарившийся человек, который долго и мучительно искал чего-то и не нашел ничего. Беглое знакомство с европейской культурой, быть может, усилило трещину в есенинской психике, и без того уже имевшей сильную склонность к раздвоению. Америка для него – только «железный Миргород», впечатление от Франции, Германии, от отдельных главных их городов – настолько безотрадны, что Есенин вспоминал о них редко, но всегда с особенным озлоблением. Почему? Трудно сказать. Не потому ли, что он ожидал триумфального шествия по Европе, а оно получилось малозаметным.

– Ты понимаешь, – говорил он мне по приезде, – мы для газетчиков устраивали дорогие ужины, я клал некоторым из них в салфетки по 500 франков… они жрали, пили, брали деньги и хоть бы одну заметку обо мне!.. Взяточники и сволочи!

Европа о Есенине упорно молчала. Чтобы заставить говорить о себе, был применен старый российский способ – скандалы. Но и скандалы не раскачали продажную французскую и американскую гласность. За один из таких скандалов в Париже Есенину едва не пришлось испытать тяжелую кару. И только большая взятка да хлопоты Айседоры Дункан, настаивавшей на том, что у Есенина хронические припадки душевной болезни, сделали то, что Есенина только выслали из Франции.

– Она меня хотела в сумасшедший дом отправить! – говорил как-то раздраженно Есенин о Дункан, а сам, несмотря на сильное опьянение, хитренько смотрел в сторону и едва заметно улыбался. Он понимал, что о нем заботились, и по-своему ценил эти заботы.

Впрочем, Есенин был необыкновенно мнителен. Ему постоянно казалось, что его никто не любит и не ценит, что он одинок, что он стал некрасив, что у него посерели волосы и

обрюзгло лицо и что поэтому женщины подходят к нему только с целью наживы да затем, чтобы покичиться его именем перед другими.

Минувшим летом Есенин приезжал ко мне на московскую квартиру несколько раз и всегда очень рано, около шести утра. Умер он в пять часов утра! Боязнь остаться в эти часы одному служила предостережением. И накануне смерти, когда Есенин приехал в гостиницу «Англетер» в Ленинграде, где я жил уже несколько месяцев, он, остановившись здесь, на другой же день по приезде пришел ко мне в номер также в шестом часу утра и пробыл до рассвета. Но пришел он не встревоженный, а какой-то по-особенному смирный, непохожий на себя, как будто очень ему было неловко, что разбудил так рано. На другой день, по его словам, он также приходил, но постучал, должно быть, так тихо, что мы не слыхали, и он ушел. А на следующий день он усиленно просил, чтобы его пускали ко мне, если он придет даже и очень ранним утром. Но он не пришел…

При наших московских свиданиях Есенин мучился тяжелой болью за своего друга Александра Ширяевца, умершего больше года тому назад. Есенин рассказывал:

– Ну, не скоты ли?! Прихожу я на кладбище, ищу могилу Сашки… а могилы нет!.. Понимаешь ли, на том месте, где погребен Ширяевец, какой-то сукин сын схоронил какого-то помощника режиссера… И доска, понимаешь ли, есть… А Сашки как на свете не бывало…

Через несколько дней я передал рассказанное Есениным о Ширяевце П. Орешину, который был в комиссии по похоронам.

Тот ответил:

– Я недавно был на могиле, ничего подобного!

В ноябре Есенин был в Ленинграде. Долго, целый вечер, просидел у меня в «Англетере», трезвый и необыкновенно смирный. Он мне показался тем Есениным, которого я знал в 1919 году. Есенин читал свои новые стихотворения, в том числе «Черного человека». Эта поэма была еще не отработана, некоторые места он мычал про себя, как бы стараясь только сохранить ритм, и говорил, что над этой поэмой работает больше двух лет. Сколько он работал в действительности, трудно сказать: Есенин отличался большой фантазией. Летом, например, он говорил мне, что работает над большим романом, который вчерне уже закончен. Первая часть романа, по его словам, была уже отделана совсем, и он собирался сдать ее в «Красную новь». Но как потом оказалось, никакого романа Есенин не писал, да и едва ли хватило бы у него терпения и усидчивости, чтобы написать роман. Этим же летом он жаловался на то, что он «кончился», что

он может писать только стихотворения не больше 8 строчек, да и те уже не такие, как раньше…

И тут же с усмешкой прибавлял:

– Ничего, пусть я мало пишу: я все-таки теперь самый модный поэт!

Прощаясь со мной в ноябре, Есенин обещал приехать через месяц. Вообще переехать в Ленинград с некоторых пор у него стало заветным намерением. Москва его знала. Ему надо было покорить и Ленинград, который к тому же «корился» сравнительно легко. За год до этого приезда Есенин был тут, устроил вечер своей поэзии в Экспериментальном театре. Вечер, начавшись скандально, кончился полным триумфом Есенина. Есенин явился на вечер настолько пьяным, что товарищи пришли в отчаяние. Я велел послать за нашатырным спиртом и лимонадом. А Есенин уже вышел на эстраду и начал говорить «вступительную речь»… Налили стакан лимонаду, прибавили большую дозу нашатырного спирта и вынесли стакан на стол. А тут, как на грех, захотел пить поэт Р., сидевший в президиуме рядом с Есениным. Поэт Р. выпил стакан, не учуяв нашатырный спирт. Налили второй стакан, но и его постигла та же участь. Есенин вытрезвлялся естественным порядком, продолжая «произносить» свою «речь»… И что это была за речь! Есенин вообще говорить не умел, но, вероятно, был уверен, что он один из самых лучших ораторов. В своей речи он говорил обо всем, кроме поэзии, но вернее – только о себе. Он начал с описания своего детства, своих домашних, потом перемахнул в Петербург на знакомства с Блоком, Городецким и т. д.

Зал был возмущен, многие начали уходить.

– Стихи! Читайте стихи! Довольно!

Есенин, не обращая внимания, продолжал свою речь. И так «говорил» больше полутора часов… Но когда начал читать стихи, зал мгновенно переменился. Не было слышно уже ни одного возгласа, стояла полная, чуткая тишина. Есенин даже в пьяном состоянии читал свои стихи очень хорошо. Это был прекраснейший чтец.

Я еще не слыхал, чтобы кто-нибудь читал лучше его стихи.

Вечер этот кончился тем, что Есенина слушатели вынесли на руках. Ему пришлось читать, уже будучи одетым. А в коридоре какая-то психопатка сдернула у него с головы шляпу, прижала к сердцу и подняла визг, не желая никому отдавать эту шляпу…

Итак, Ленинград «корился» легко. А ко всему этому – затяжной квартирный кризис в Москве, постоянно кочующий образ жизни, нет даже места, где бы прислониться написать стихотворение. Впрочем, с женитьбой Есенина на С.А. Толстой

квартирный кризис в той или иной мере устранился. Но тут было очень много самых разнообразных неудобств.

Есенину казалось, что ему мешали работать, раздражали, следили за каждым его шагом, не давая побыть одному. Месяц лечения изгнал похмельное состояние, нервы окрепли, вот только отпраздновать отъезд, проститься с приятелями и – да здравствует новая жизнь!

Выйдя из клиники, Есенин стал готовиться к отъезду в Ленинград.

Он забрал с собою все свое имущество, рукописи, книжки, записки. Он ехал в Ленинград не умирать, а работать.

Приехав в Ленинград, Есенин отправился на квартиру к поэту В. Эрлиху. Оставив здесь легкий багаж, Есенин на том же извозчике немедленно отправился в «Англетер», по-видимому, желая разыскать меня.

– Устинов здесь живет? – спросил он у портье.

– Живет. Его номер 130.

– Я знаю, – быстро ответил Есенин. – А свободные номера есть?

– Есть.

И он тут же снял номер. Сбросил пальто в своем номере и пришел ко мне, этажом повыше. Он был в шапке, в длинном шарфе из черной и красной материи, радостно возбужденный, с четырьмя полбутылками шампанского.

Расцеловавшись, он тут же выразил обиду:

– Понимаешь ли, нет бутылками-то! Я взял четыре полбутылки!..

Вино было выпито, от новой покупки я отговорил Есенина, сказав, что мне необходимо сейчас же ехать в редакцию «Красной газеты».

Вечером он уже ждал меня. У него было накуплено много всякой всячины: гусь, разные закуски, разное вино, коньяк, шампанское. Был канун Рождества. Есенин пил мало, пьян он не был. Весь вечер читал свои новые лирические стихи. Раз десять прочитал «Черного человека», теперь уже отделанного, в том виде, как он впоследствии был напечатан в журнале «Новый мир». Читая, Есенин как бы хотел внушить что-то, что-то подчеркнуть, а потом переходил на лирику – и это его настроение пропадало. В шестом часу утра он разбудил меня, сидел до рассвета, потом вместе с Эрлихом пошли разыскивать Н. Клюева. Клюева они нашли не сразу. Облазили несколько квартир. Встреча была обычной. Расцеловавшись, Есенин сел, рассматривая прищуренным взглядом убранство клюевского жилища. Очень много икон, перед иконами лампадка. Посидев, Есенин хотел

прикурить от лампадки, но Клюев воспротивился так, что даже буйный Есенин не настаивал. А когда Клюев вышел умываться, Есенин погасил лампадку, сказал Эрлиху:

– Ты ему не верь, он все притворяется! Посмотри, вот он и не заметит, что лампадка погашена.

И действительно, Клюев не заметил. Это очень веселило Есенина. Клюев оделся, и они втроем пришли в «Англетер» в комнату Есенина. Есенин опохмелился, но пьян не был. Он читал Клюеву все свои новые стихи. Клюев слушал, сложив руки на животе, посматривая на Есенина из-под своих мохнатых мужицких бровей.

– Ну как, Николай?

– Хорошие стихи, Сережа, очень хорошие стихи! Вот если бы все эти стихи собрать в одну книжечку да издать ее с золотым обрезом, она была бы настольной книжечкой у всех нежных барышень…

Есенин долго сидел молча, мрачно насупившись.

– Удивительное дело, – сказал он наконец хрипло, – я знаю тебя давно, Николай, знаю многие твои черты, которые как-то выродились, сгладились, а вот эта твоя черта… подлость…

А через некоторое время он прибежал в мою комнату и уже весело сказал:

– А я, понимаешь ли, выгнал Клюева. Ну его к черту!

Но это было неверно. Есенин расстался с Клюевым сдержанно, но даже звал его обязательно прийти вечером. Клюев обещался, но не пришел. Следующее их свидание было уже на Фонтанке в ленинградском Доме печати, когда Есенин лежал в гробу, а Клюев стоял в стороне со сложенными на животе руками и лил обильные молчаливые слезы.

Столкнулись две хитрых индивидуальности, быть может, обе равноценные: прищуренная Рязань и насупленный мохнатыми бровями Олонец.

Есенин вообще был очень хитер и очень подозрителен. Он умел замечательно притворяться, знал людей и если кого-нибудь узнавал с отрицательной стороны или узнавал только какую-нибудь одну черту, которая ему была ненавистна, с ним он был последовательно груб и настойчиво резок.

Внимательность под маской равнодушия, хитрость, скрытая то под озорством, то под лестью, то под буйными скандалами, то под показной враждебностью, – все это было свойственно его природе. Помню случай в «Люксе». Мы в 1919 году составили с Есениным «Революционный декламатор». Есенин подбирал стихи, я написал предисловие. Сборник передали Б. Ф. Малкину для издательства «Денница». Деньги за составление сборника мы

получили, но он так и не увидел света. Получив деньги, сборник был вспрыснут. Есенин немного захмелел, вышел на балкон, перевесил через перила ноги, угрожая спрыгнуть с пятого этажа на тротуар. Видевшие это моя жена и одна знакомая пришли в ужас, начали отговаривать Есенина не делать столь безрассудного поступка. Вся обстановка способствовала тому, чтобы Есенин из противоречия сделал то, что, разумеется, не хотел делать, желая только «попугать» и узнать – насколько тут любят его. Положение было критическим. Я вытолкал женщин с балкона, запер дверь, оставив Есенина на балконе одного, сказав ему довольно сердито:

– Прыгай к чертовой матери, а истерик тут мне не устраивай!

Через минуту Есенин уже стучал в дверь и извинительным голосом просил:

– Жорж, да отопри же!.. Ну их к черту, я пошутил!

И в тот самый день, в последний день его жизни, Есенин, может быть, так же играл, но заигрался. Мог ли он думать, что будет забыта записка с его собственной кровью написанным стихотворением: «До свиданья, друг мой, до свиданья»? Но она роковым образом была забыта. Если бы она была прочитана раньше, Есенина на эту ночь не оставили бы одного. На эту ночь! А как с последующими ночами? Он не был младенцем, чтобы навязчиво провожать его даже в уборную. Он этого и сам не допустил бы, потому что ему уже и так начинало казаться, что за ним установлена слежка со стороны его семьи и приятелей. Не от этой ли кажущейся ему слежки он бежал в Ленинград? Когда, уезжая, он встретил на московском вокзале своего старого друга А. М. Сахарова, кажется, не подал ему руки, подозревая, по-видимому, что Сахаров подослан к нему с целью слежки. Он отвернулся от него, даже не захотел разговаривать и торопливо исчез в вагоне, боясь, как бы тот за ним «не увязался». И кроме того, не был ли уверен Есенин, что записка с его стихотворением прочитана всеми нами, но что мы не обращаем на него внимания, предоставив ему полную возможность и полную волю делать с собою что ему угодно? Это для мнительного и подозрительного Есенина было бы ударом:

– Значит, тут меня никто не любит! Значит, я не нужен никому!

Весь этот самый последний день Есенин был для меня мучительно тяжел. Наедине с ним было нестерпимо оставаться, но и как-то нельзя было оставить одного, чтобы не нанести обиды. Я пришел к нему днем. Есенин спал при спущенных шторах. Увидев меня, он поднялся с кушетки, пересел ко мне на колени, как мальчик, и долго сидел так, обняв меня одною рукой за шею. Он жаловался на неудачно складывающуюся жизнь. Он

был совершенно трезв. Потом в комнату пришли. Есенин пересел на стул, читал стихи – и опять – «Черного человека». Тяжесть не проходила, а как-то усиливалась, усиливалась до того, что уже было трудно ее выносить. Что-то невыразимо мрачное охватило душу, хотелось что-то немедленно сделать, но – что?

Под каким-то предлогом я ушел к себе. Вскоре ушел и Эрлих, Есенин остался один. Часов в девять вечера Эрлих заходил к нему. Есенин сидел одетый: в комнате было холодновато. Он накинул на плечи пальто.

Когда Эрлих уходил, Есенин сказал ему:

– Иди, Вова, выспись! Я тоже отосплюсь, а завтра – за работу! Достань нам квартиру в семь комнат. Три я возьму себе, а четыре – Устиновым…

А мне он перед этим говорил:

– Наймем вместе квартиру и вместе будем работать, как тогда, в «Люксе». Я начну все сызнова…

Прощаясь со мной, он спросил меня:

– Ты, конечно, зайдешь ко мне?

– Конечно.

– Обязательно заходи, только поскорее! Скажи, чтобы меня пускали к тебе по утрам…

В этот вечер зайти к нему мне не пришлось. Около девяти пришел ко мне писатель Сергей Семенов, с которым мы просидели часов до 12 ночи. Мы подумали было зайти вместе, но решили, что лучше дать ему выспаться – а Есенин в эту ночь уснул так, чтобы никогда уже больше не просыпаться…

Что привело к столь стремительному концу? Есенин не приехал умирать – это бесспорно. Мучительное состояние похмелья? Но он накануне был трезв. Галлюцинации, которые начинаются у алкоголиков как раз тогда, когда они бросают пить? Но Есенин пьянствовал не столь продолжительное время, чтобы у него начались галлюцинации.

«Переиграл»? Когда я увидел его висящий труп, я пережил нечто, что сильнее ужаса и отчаяния.

Труп держался одной рукой за трубу отопления. Есенин не сделал петли, он замотал себе шею веревкой так же, как заматывал ее шарфом. Он мог выпрыгнуть в любую минуту. Почему он схватился рукой за трубу? Чтобы не вывалиться или же – чтобы не дать себе возможности умереть? Говорят, что вскрытием установлена его мгновенная смерть от разрыва позвонка. Может быть, он не рассчитал силы падения, когда выбил из-под себя тумбочку – и умер случайно, желая только поиграть со смертью?

Все это пока неразрешимая тайна. Быть может, наука когда-

нибудь найдет способ открывать психические тайны даже после того, как человек умер. Но пока еще этого нет. Врач, делавший вскрытие, на мой вопрос – можно ли что-нибудь из последних психических переживаний установить путем вскрытия, ответил, с грустью пожав плечами:

– Наука тут бессильна. Мы можем установить только физические аномалии, психика же отлетает вместе с последним вздохом. Она для нас неуловима, поскольку мы имеем дело уже с трупом.

1926

Надежда Васильевна Плевицкая
Клюев и Есенин

Из книги «Мой путь с песней» Н.В. Плевицкой.

На второй неделе поста в Михайловском театре давался концерт под покровительством великой княгини Ольги Николаевны в пользу семей убитых воинов.

Там было мое первое выступление после приезда с фронта.

Тогда же тихой, вкрадчивой поступью вошел ко мне и поэт-крестьянин Н. Клюев.

Мне говорили, что Клюев притворяется, что он хитрит. Но как может человек притворяться до того, чтобы плакать!

Я пригласила его к себе, и Н. Клюев бывал у меня.

Он нуждался и жил вместе с Сергеем Есениным, о котором всегда говорил с большой нежностью, называя его «златокудрым юношей». Талант Есенина он почитал высоко.

Однажды он привел ко мне «златокудрого». Оба поэта были в поддевках. Есенин обличьем был настоящий деревенский щеголь, и в его стихах, которые он читал, чувствовалось подражание Клюеву.

Сначала Есенин стеснялся, как девушка, а потом осмелел и за обедом стал трунить над Клюевым. Тот ежился и, втягивая голову в плечи, опускал Глаза и разглядывал пальцы, на которых вместо ногтей были поперечные, синеватые полоски.

– Ах, Сереженька, еретик, – говорил он тишайшим голосом.

Что-то затаенное и хлыстовское было в нем, но он был умен и беседой не утомлял, а увлекал и сам до того увлекался, что плакал и по-детски вытирал глаза радужным фуляровым платочком.

Он всегда носил этот единственный платочек. Также и рубаха синяя, набойчатая, всегда была на нем одна. Я ему подарила сапоги новые, а то он так и ходил бы в кривых голенищах, на стоптанных каблуках.

Иногда он сидел тихо, засунув руки в рукава поддевки, и молчал. Он всегда молчал кстати, точно узнавал каким-то чутьем, что его молчание мне нужнее беседы.

1929

Роман Борисович Гуль
Есенин в Берлине

* * *

Русские писатели ходили по Берлину, кланяясь друг другу. Встречались они часто, потому что жили все в Вестене. Но когда люди кланяются друг другу – это малоинтересно. Я видел многих, когда они не кланялись.

<…>

На Виттенбергпляц я видел неуверенно летящей походкой идущего Сергея Есенина. Но о нем я хочу рассказать подробно.

Я познакомился с Есениным в пьяном виде. Это был вечер, где он читал стихи. Если б Есенин был жив, я б рассказал только об этом вечере. Но Есенина нет. А я его очень люблю. И мне хочется – о Есенине в Берлине – вспомнить все.

В редакции «Новой русской книги» кто-то сказал: «Сейчас Есенин прилетел на самолете с Дункан. Они – в «Накануне». Есенин спорит с Ключниковым об изъятии церковных ценностей». Вопрос тогда был моден. И Есенин был за «изъятие».

В «Доме Искусств» ждали Есенина. Он приехал около часу ночи. Показался в дверях с Дункан и Кусиковым. Ему зааплодировали. Он вошел. Но Дункан войти не хотела. И Есенин вернулся к ней – уговаривать.

Вошли они вместе. Дункан в легком лиловом платье-хитоне. Есенин в светлом костюме и белых туфлях, поддерживая ее под руку. Белые туфли я заметил, когда он вскочил на стул и засвистал в три пальца.

Но они шли неприятно. Коэффициент счастливости брака узнается, когда муж и жена идут рядом. Однажды я видел, как шел с женой киностар Конрад Файт. Файт очень высок, очень худ. Похож на две перекрещенные кости – рост и плечи. На экране его видели многие. Жена его красавица. Она торопилась за ним. Он шел быстро. Она хотела положить ему на плечо руку. И не могла. Не успевала. Так он и ушел вперед.

Есенин неестественно вел Дункан. Неестественно улыбался. Дункан шла легкой, довольной походкой женщины, входившей и не в такие залы.

Умопомешанный эмигрант, увидав Дункан, почему-то закричал: «Vive L'International!» Она кивнула ему головой и ответила: «Chantous la!» В зале были советские и эмигранты. Одни

запели, другие засвистали. Кто-то на кого-то бросился в драку. Скандал разразился. Во время него Есенин стоял на стуле.

Он кричал об Интернационале, о России, о том, что он русский поэт, о том, что он и не так умеет свистеть, а в три пальца. И засвистал.

Возле него волновался Н.М. Минский. Но все стихло внезапно, когда Есенин начал стихи. Он читал лирику, стоя на стуле. Стихотворенья покрывались громовой овацией. И овацией кончился вечер.

Ночью в ресторане Есенин пил. Кусиков читал стихи. Айседора сидела с Есениным. Тоже пила. В ее честь русский профессор говорил французскую речь. И вскоре они уехали в Америку.

Из Америки через Париж Есенин приехал один. Он был смертельно бледен. И не бывал трезв. Он не рассказывал о том, что брак с Дункан закончился вмешательством французской полиции. Он пил.

В Шубертзале была устроена его лекция. Есенин вышел на сцену, качаясь, со стаканом вина в руке, плеща из него во все стороны. С эстрады говорил несуразности, хохотал, ругал публику. Его пытались увести. Он не уходил. Наконец бросил об пол стакан и, вставшей с мест, кричащей на него публике стал читать «Исповедь хулигана».

Она кончилась овацией.

В союзе немецких летчиков, на русском вечере, где впервые читал Есенин «Москву кабацкую», мы познакомились.

Выступали многие. Последним вышел на эстраду Есенин. Во всем черном – в смокинге, в лакированных туфлях – с колышащимся золотом ржаных волос. Лицо было страшно от лиловой напудренности. Синие глаза были мутны. Шел Есенин неуверенно, качаясь.

Литературный стол был чрезмерно обутылен. Кусиков в чем-то уговаривал косенькую брюнетку. Оркестр играл беспрерывно. Рядом был А. Толстой. Напротив – Н. Крандиевская и Есенин, с повисшей со стола рукой. Она что-то говорила Есенину. Но Есенин не слыхал. Он вскидывал головой, чему-то улыбался и синими глазами смотрел в пьяное пространство. Сильно глушил оркестр. Бутылки шли на стол, как солдаты. Было уже поздно. Есенин обводил сидящих и уставлялся, всматриваясь. Бутылки. Руки. Стаканы. Стол. Цветы. Алексей Толстой. Кусиков с брюнеткой. Лицо Есенина. Все дробилось картиной кубиста.

Я сказал Есенину:

– Чего вы уставились?

Дальше должна была быть брань, драка, бутылкой в голову.

Но Есенин улыбнулся тихо и жалобно. Качаясь, встал. И сказал, протягивая руку:

– Я – ничего. Я – Есенин, давайте познакомимся.

Средь цветов и бутылок Есенин, облокотившись на стол, стал читать стихи. За столом замолчали, наклонившись к нему. Читал он тихо. Только для сидевших. Он даже не читал. А вполголоса напевал. То вдруг падая головой. То встряхиваясь. Вино качало его и шумело в нем. В «Москве кабацкой» он дважды повторил: «Дорогая, я плачу, прости, прости». И говорил это он очень хорошо.

Когда Есенин читал, я смотрел на его лицо. Не знаю, почему принято писать о «красоте и стройности поэтов». Лоб у них должен быть Эльбрус. Глаза – непременно разверстые. Черты лица – классические. Есенин был некрасив. Он был такой, как на рисунке Альтмана. Славянское лицо с легкой примесью мордвы в скулах. Лицо было неправильное, с небольшим лбом и мелкими чертами. Такие лица бывают хороши в отрочестве. Сейчас оно было больное, мертвенное, с впалым голубым румянцем. Золотые волосы и синие глаза были словно от другого лица, забытого в Рязани.

Когда Есенин кончил читать, он полуулыбнулся, взял стакан и выпил залпом, как воду. Этого не расскажешь. Во всем: как взял, как пил и как поставил – было в Есенине обреченное, «предпоследнее». Он казался скакуном, потерявшим бровку и бросившимся вскачь целиной ипподрома. Я заказал оркестру трепак. Трепак начался медленно, «с подмывом». Мы стали просить Есенина. Он прошел несколько шагов, качаясь.

Остановился. Улыбнулся в пол. Но темп был хорош. И Есенин заплясал. Плясал он, как пляшут в деревне на праздник. С коленцем. С вывертом.

– Вприсядку, Сережа! – кричали мы.

Смокинг легко и низко опустился. Есенин шел присядкой по залу. Оркестр ускорял темп, доходя до невозможного плясуну. Есенина подхватили под руки. Гром аплодисментов. И мы опять пришли к столу, где в тортах стояли окурки и цветы валялись, как измятые лошадьми.

За столом говорили профессионально. О молодых поэтах. Я хвалил Казина. Но Есенин смеялся, махая рукой:

– Да что вы, да что это за поэты! Да это все мои ученики! Я же их учил писать! Да нет же, они вовсе не поэты! Они – ученики!

За окном черным пятном лежала берлинская ночь. Перед рассветом пьяные всегда надоедают друг другу. Домой они еще не уходят. Но расходятся по углам.

Толстой с Крандиевской уехали. Злые лакеи собирали посуду,

умышленно громко звеня тарелками. Я шел, качаясь, пустым залом. Был пьян. И вместо комнаты, где сидели мы, – вошел, где лакеи составляли посуду.

Тут на столе сидел Есенин. Он сидя спал. Смокинг был смят. Лицо – отчаянной бледности. А сидел так, как в ночном у костра сидят крестьянские мальчики, поджав под себя ноги. Рядом был фужер с водой, и сидел Глеб Алексеев.

– Алексеев, – сказал я, – его надо увести. – Я взял фужер.

Но это была не вода, а водка.

– Он спит, – сказал Алексеев.

Есенин не слышал. Лица его не было видно. Висели только волосы. Я взял его за волосы – они были мягкие, как шерсть. Алексеев разбудил его. Есенин встал со стола. Потянулся и сказал, как во сне:

– Я не знаю, где мне спать.

– Пойдем ко мне, – сказал Алексеев. И мы вышли из дома немецких летчиков. Было пять часов утра. Фонари уже не горели. Где-то в полях, может быть, уже рассветало. Берлин был только коричнев.

Мы шли медленно. Есенин быстро трезвел. Шел тверже.

И стал говорить:

– Знаешь, знаешь, я ведь ничего не люблю. Ничего… Только детей своих люблю. Люблю. Дочь у меня хорошая – блондинка. Топнет ножкой и кричит: я – Есенина!.. Вот какая дочь… Мне бы к детям в Россию… а я вот мотаюсь…

– Фамилия у тебя хорошая: осень, ясень, есень, таусень.

– Да – это ты верно. Фамилия замечательная. Языческая. Коренная. Мы – рязанские. Это ты верно. Я и Россию ведь очень люблю. Она – моя, как дети.

На площади стояли зазябшие сосисочники с никелевыми кухнями. Продребезжал фиакр с вихляющимся на козлах пьяным кучером. Мы перешли площадь. И опять пошли коричневыми сумерками улиц.

– Я Россию очень люблю. И мать свою люблю. И революцию люблю. Очень люблю революцию…

Коричневая краска уже редела сивыми полосами. Откуда-то мягко зачастили автомобили. На ветках пыльных деревьев проснулись воробьи. Мы стояли на углу Мартин-Лютерштрассе. Я простился с Есениным. И тихо идя, еще слышал что-то рассказывавший есенинский голос.

Потом были вечера – у Кусикова. Там пилось и пелось. Кусиков – цыганское под гитару. Есенин – частушки под балалайку:

У бандитов деньги в банке,
Жена, кланяйся дунканке! —

выкрикивал Есенин под веселое тренканье.

Но это недолго. Последний раз я видел его на улице. Он шел трезвый. Растерянной походкой. Словно куда-то торопился, а сам не знал, куда и зачем. Был он так же бледен. В пальто, запахнутом наспех.

Глеб Васильевич Алексеев
Сергей Есенин. Живые встречи

Русское зарубежье о Сергее Есенине. Антология. – М.: Терра – Книжный клуб, 2007.

В продолговатый коридор, похожий на саркофаг, выделанный изнутри мрамором тяжелопузых колонн, бронзой дверных ручек, надписей на тоненьких, как страусова нога, цоколях, стрельчатыми, раскоряченными лапами часов – торопясь, входили люди, озабоченно разговаривали с людьми, сидевшими в камерах, зашнурованных надежной решеткой, похожих на клетки, шарили в карманах, вытаскивая помятые, шуршащие документы, укладывали в портфели деньги, вынимали их зелеными, туго обинтованными накрест пачками, потом озабоченно уходили. Нутро большого торгового города стекалось сюда всеми своими ручьями – одним принося богатство, другим разорение, словно это была станция, а поезд-биржа – сотней телефонов и телеграфов связанный с нутром саркофага, проносился рядом, уловимо близко. На выгнутых с резными спинками скамейках дожидались хорошо обряженные дамы с открытыми почему-то ридикюлями, старушки в чопорных, немнущихся на коленях платьях, мимо неторопливо прохаживались мужчины с портфелями, исподволь следя за стрелкой, наползавшей к цифре 1 – в час банк закрывался.

Часов в 12, когда движения спокойных людей, сидевших в камерах, вдруг стали нервными, а у окошек выгнулись хвосты боявшихся опоздать, – в банк вошел человек в велосипедном шлюпике, насаженном на затылок, в широком английском пальто, обвисшем на нем как колокол, и в белых парусиновых, окаченных автомобильной грязью ботинках. Он в нерешительности остановился возле швейцара, снял шлюпик и, держа его в руке, пошел было ближе, но потом раздумал, сел на стул и внимательно осмотрелся вокруг. Его волосы, кружком скатившиеся на лоб, доставали почти до бровей, бесцветных и белесых, вокруг глаз набежали морщины и, набежав, затвердели радугой. Он в нерешительности мял картуз, вбок поглядывая на деловую толпу, сам ей чужой, будто испугавшийся ее планомерного бега, в котором каждому было свое место и не было лишь ему. Потом он достал папиросу, закурив, – широким жестом отшвырнул спичку на колени сидевшей напротив дамы с птичьими крыльями на шляпе и, куря, стал выпускать дым в сторону – в желтое и лысое как бильярдный шар лицо соседа –

крепкий саднящий дым махорки РСФСР, купленной только вчера в Москве. Казалось, что человек в шлюпике с интересом наблюдал, что произойдет дальше. Остановятся стрелки часов, люди выскочат из-за решеток, дама, которой спичка упала на колени, скользнет со стула в обмороке, а немец, зачихавший в крепком дыму РСФСР, поднимет трость – человек в шлюпике улыбнулся, закладывая ногу на ногу, белым ботинком на колени. Но немец, учтиво сняв шляпу, пробормотал:

– Verzeihung. (Извините) – и пересел на другое место.

Тогда рядом с человеком в шлюпике вырос сторож – в длиннополом мундире, прокрапленном начищенной медью пуговиц, посмотрел пристально на белые ботинки – и они сами скользнули к полу, в надлежащее положение. Человек в шлюпике застенчиво улыбнулся и, встав, подошел к кассе. Там он попробовал с помощью рук что-то растолковать кассиру, совал ему под нос билет и кипу каких-то удостоверений, потом устал и, махнув рукой, неловкой походкой пошел к выходу.

Я узнал его и нагнал у дверей.

Он все такой же – не вырос, маленький, как в Москве лет семь назад, все так же удивляются его глаза и застенчива улыбка, сдвигающая к ресницам кольца обветренных морщин. Если бы снять с него пальто да на ладный кружок кучерских, непослушных волос насадить картуз по брови – звонил бы он у Николы на Посадях, сам удивляясь, как из-под медных дылд, болтающихся в руках на веревках, слетают вниз согласные звуки малинового звона. Если б снять с него белые ботинки да в опорках на босу ногу с длинным кнутом, обжигающим, как выстрел, пустить по плотине в вечерний час, когда по-над рекой играет бубенцами стадо, а окна деревенских хат – что красный мак на солнце, – пел бы он песню, пастушонок, пел бы он звонкую, и бабы, возвращаясь с жнивов, разломавших бедра, и старики, поджидающие стадо у плетней, улыбнулись бы молодости, порадовались жизни, простой и понятной под крестьянским небом. Если б снять с него городской наряд да в степь – на связку разбегающихся дорог, под ветер, шипящий растревоженным кустарником, выпустить с ножом в голенище – поджидал бы он купца на тройке, засвистал бы товарищам в четыре пальца, подраненного, в смертной муке свалившегося в кузовок, дорезал бы – из озорства. Такие – в бабки здорово играют, полкона снимают, хоть и махонькие, грозные атаманы и отрясатели чужих яблонь, и девкам на селе от них проходу нет. Прежде, когда тракты были, а на трактах водка, а на дорогах – вольная песня ямщичья, такие в ямщики шли. Душу вывернет седоку песней, степь заворожит, а на юрах да опушках

побаивайся, за суму держись крепко – знает, что под тельником зашита, ножичек за голенищем щупает. Прежде такие вот сами к монастырям приходили и принимали на себя послух великий: год и два поет на клиросе – женоподобный, юркий да щупленький, а к работе горяч, игрушечный монашек старцам на утешение, служка игумена самого, а в одно утро уйдет, только и найдут на несмятой постели островерхий с ямкой спереди монашеский наперсток. Да разве потом о. Паисий или о. Аристарх, собирающие по дорогам на построение нового храма в обители, поведают братии, что видели Сергуньку в портовом городе в кабаке, пьянствовал с матросами, на гармонике – чудо как хорошо играл и ругался словами самыми непотребными. Тесно таким вот тихоням в родном селе, оттого и шли по шляху да по степи разгуляться забубённые, ласковые певуны, а воры щупленькие, а с ножичком – принимала их потом каторга – одна и по плечу, пестовала тайга непроходная – одна и по песне: во четыре пальца свист. И не раз крыли они Русь молодецким посвистом, по степи погуляли не раз – Стенькой ли Разиным, Пугачем Емелькой, Гришкой Отрепьевым, – тремя святителями подъяремной тишины.

Мы шли по улице большого города, торопящегося жить. Наседая один на другой, подвигались трамваи – вероятно, сверху они похожи на звенья перебираемых четок. Поспешали автомобили, автобусы, пролетки, вздувая щекочущие облака бензинной вони. По улицам, мимо окон, подъездов, телефонов, магазинов – стремилась толпа. Жизнь обратилась в бег, каждый шаг – деньги. Он шел медленной походкой, в развалку, как ходить умеют только еще в России. Размахивая шлюпиком и улыбаясь, рассказывал, как он шел завоевывать город. О! Как все они, эти тихонькие, его ненавидят! – и как в город принес песню – ведь его песня – дол да поле, да лес в ржавом золоте вечера, ну, а леса в городе не помнят. И вот грохоту вправленного в работу железа и камня, сердцу большого города, изжившего единственную человеческую правду – правду земли, он рассказал, что электричество еще не убило солнца и зорь его, что автомобиль еще не обогнал лета стрижа над лугом, что кроме трех засыхающих лип городского газона есть еще лес, а в нем заблудиться можно, есть еще песня граммофона, она плакать заставит, да есть еще свист соловьиный, разбойничий – эх, как улюлюкает он по лесам, если выйти из переулка, да тропою к Оке ли, к Днепру ли, на Волгу податься! А когда город, хоть и революционный, но не поверил, как не хочет и не может верить человек смерти, Есенин вымазал дегтем ворота Страстного монастыря, переколотил булыжником стекла магазина

фальшивых бриллиантов и издал свой революционный приказ, чтобы «вся сволочь» собралась завтра на Театральную площадь послушать, какую он споет песню, и у песни этой поучиться любить жизнь. Его засадили в тюрьму, он обломал в ней пальцы, пробуя, крепка ли решетка, и понял, что камень в копьях колоколен и музеев сильнее пастушеской песни, если даже от нее плачут. И вот тихонький, как в монастыре когда-то, он притворился верующим, обрядился в городское пальто по последней моде – это ли не послух: белые ботинки к строгому смокингу.

– Вы придумали новую жизнь. Но вам скучно в сером камне – камень неплоден. И три тысячи лет минуя, в амфитеатрах дешевого гранита воскрешаете… Элладу. Ну, что ж! Хлопайте Айседоре Дункан, считайте за счастье «что-то пережить» на ее спектаклях, а я вот возьму да на этой Айседоре… женюсь.

– Вы смозговали аэроплан. Триста верст в час – это ли не гордость нашего времени. Ну, и ходите и смотрите, как трепыхаются неживые птицы над аэродромом. А я вот из Москвы в Берлин полечу. А из Берлина еще и в Америку.

На Айседоре Дункан он женился. Из Москвы в Берлин прилетел. Из Берлина полетит в Нью-Йорк. Если завтра придумают торпеду, чтобы достать луну, – Есенин будет первым ее пассажиром. Для него это послух, он пока его и несет. С ножичком за голенищем, а ласковый: в глаза глядит всякому, как матери.

Но если завтра придут толпы и в ярости обнаженного гнева голыми кулаками разобьют Кремль и Лувр, по камушку, по бревнышку растащут стены музеев и грязные ноги вместо портянок обернут Рафаэлем – он будет одним из первых, певец ярости восставшего дикаря и раба, и жертву, в смертной муке припавшую к облучку, дорежет – из озорства.

* * *

Я сказал ему, что русские писатели, живущие в Берлине, собираются в одном кафе, чтоб послушать новые произведения, поговорить, обменяться словом.

– А барахло тоже налезает? – спросил он, улыбаясь.

– Тоже.

– Мы в Москве с этим покончили! У нас это строго. Обидел Бог – так молчи, грязными руками не лапай…

Впрочем, в Доме искусств заблаговременно предупредили, что прилетевший из Москвы в Берлин Сергей Есенин с женой

Айседорой Дункан «обещали быть» на очередном собрании в пятницу. И пятница эта была едва ли не самой многолюдной и шумной. Все те же безукоризненные проборы, а под ними печать, о которой еще Гейне обмолвился: «это надолго», необыкновенно стильные девицы, издатели – пестрая, жадно высматривающая лава в ловких пиджаках, меценаты, просто родственники – едва уместясь, все это шумело, сдержанно волновалось, пыхтело сигарами, пахло дорогими духами и человеческим потом. А лицо у всех было одно – захватывающее, жадное, молчаливое от волнения – вот в Севилье так ждут, чтобы бык пропорол брюхо неловкому тореадору. Жизнь упростилась, «тонкости», полутень, нюанс ушли из нее – зрелище должно быть грубо и ярко, как бабий цветастый платок в июньский воскресный день под праздничным звоном. И в эту толпу для чего-то читал А. Ремизов о земной жизни святителя, читал я «Чашу Св. Девы», гр. А. Толстой о Гумилеве, о его последних днях. Кому это было нужно? Снисходительно послушали, похлопали, позевали, встали, чтоб расходиться, когда председатель Дома искусств поэт Н. Минский объявил, что долгожданные гости, Есенин и Айседора Дункан, наконец приехали.

И тотчас оба вошли в зал. Женщина в фиолетовых волосах, в маске-лице – свидетеле отчаянной борьбы человека с жизнью. Слегка недоумевающая, чуть-чуть извиняющая – кого? – но ведь людям, так много давшим другим людям, прощается многое. И рядом мальчонка в вихорках, ловкий парнишка из московского трактира Палкина с чижами под потолком, увертливый и настороживший. Бабушка, отшумевшая большую жизнь, снисходительная к проказам, и внук – мальчишка-сорванец. Кто-то в прорвавшемся азарте крикнул: «Интернационал!» – пять хриплых голосов неверно ухватили напев, и тогда свистки рванулись, а робкие… будто свистали, пробуя. Склеенная жидким гуммиарабиком «любви к искусству» толпа раскололась – намотавшиеся в кровь политические комья оказались сильнее крохотных шариков этого самого искусства, а ими жонглировать не умели. Еще какой-то армянин, сгибаясь к чужому лицу, сказал «сволочь», – потные лица дам, фиолетовые от пудры и настороженные лица мужчин сдвинулись ближе к столу, за которым сидели Дункан и Есенин, белый, напряженный до звона в голове, готовый броситься – еще мгновение. И вот я видел, как он победил.

– Не понимаю, – сказал он громко, – чего они свистят… Вся Россия такая. А нас… – Он вскочил на стул. – Не застращаете! Сам умею свистать в четыре пальца…

И толпа подалась, еще захлопали, у вешалки столпились

недовольные, но Есенин уже успокоился: оставшиеся жадно били в ладоши, засматривая ему в глаза своими рыбьими и тупыми, пытаясь приблизиться, пожать ему руку… Уходя, я вспомнил его словечко.

Этих он подмял. Ушедшие от деревни: помещики ли, разночинцы, поповичи – они не дошли до города, каким он вырос на Западе.

Но перед городом – он сам озорной мальчонка, застенчиво опускающий с колен задранные ноги, не страшный возле зашнурованных в железо клеток кассиров, возле клеток, в которых так плавно и размеренно течет обособившийся и сложившийся быт.

Алексей Павлович Чапыгин
О Сергее Есенине

Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников / Сост. общ. ред. Н.И. Шубниковой-Гусевой. – М.: ТЕРРА; Республика, 1997.

Сергея Александровича Есенина я знал и любил как умного человека и за самобытный талант истинного поэта.

Таких, как он, немного, и появляются такие люди редко. Пускай убогие талантом – как нищая старуха на чужой могиле наживает копеечку, так они – пишут стихи на смерть Есенина, в которых марают его имя или наспех стряпают жалкие пьесы, всё потому, что имя его стало известно, а их имена равны ценой лохмотьям нищей.

С. А. любил меня, но всегда избегал часто видеться, боясь, что я буду его осуждать за то показное бравурное, что делал он хмельной. А хмельной он часто был от скуки – надо работать, надо тишину, покой. Кругом мир, попирающий старую скорлупу, невнимательный к душе поэта, потому что не до поэтов, художников, – надо, чтоб жизнь наладилась, а жизнь налаживается не вдруг; пройдут года – люди станут сытыми, перестанут нуждаться в самом необходимом – тогда можно и песню послушать, можно и над картиной задуматься. Ни в глаза, ни за глаза я никогда не упрекал С. А., знал хорошо, что он идет своей, какой-то непонятной мне дорогой, и только под конец его путь в мире стал казаться мне мрачным, ведущим в область кошмаров, а когда С. А. стал воспевать свои кошмары – я подумал, что кончится худо, и тут же упрекнул себя за то, что весь век я жил робко – «иные не так живут!»

Познакомились мы с С. А. в редакции «Северных записок» С. И. Чацкиной, мне его представили как талантливого поэта, и там же кроме стихов появилась его повесть «Яр». Повесть была написана торопливо, архитектоника хаотична, но в ней были красочные пятна и большая свежесть. Я часто говаривал ему позднее того времени:

– Пишите рассказы! Это даст вам большую ширину размаха.

С. А. отвечал всегда уклончиво:

– Вот что! – буду писать. Я уж написал, но это не отделано, пока…

После редакции «Северных записок» он куда-то уехал, и стихи его там долго не появлялись. Мы с ним снова встретились у Философова и Зинаиды Гиппиус – у них собирались молодые: З.

Гиппиус редактировала журнал, который издавал Каспари, издатель «Родины». Журнал был небольшой, двухнедельный, они с Философовым поставили его по-настоящему хорошо, стали приглашать лучших поэтов того периода, но Каспари нашел, что такой журнал ему дорог, и вскоре прекратил издание. В то же время, когда собирался кружок, журнал только что начал выходить; было это в 1914 году. С. А. сел со мной рядом за стол и весело сказал:

– А мы знакомы! Помните, в редакции «Северных записок»…

Он был тонкий, стройный юноша в крестьянских домотканых штанах, белой рубахе и сапогах с голенищами. Светлые кудри вились по его щекам и шее. После чая он сел с гармошкой в зале к камину спиной, начал, наигрывая, подпевать частушки. Частушек С.А. знал множество, а пел их, как поют деревенские парни. Был он жизнерадостный, все тянулись к нему.

Потом позже мы с ним встречались вместе с Н.А. Клюевым у Иванова-Разумника в Детском Селе (тогда Царском). Потом надолго я потерял его. В 1917 году встретились снова, он жил с черненькой, очень миловидной девушкой – секретаршей одной из газет революционного периода; жили они в д. 33 по Литейному. Я приходил в полдень, часто заставал С.А. в кровати, его подруга говорила мне:

– Будите! Пора – Сережка спит.

Они жили в двух больших комнатах.

Здесь за чаем С.А. читал мне стихи:

…И Богу я выщиплю бороду!..

После житья на Литейном проспекте С.А. уехал в Москву.

В 1918 году, в апреле, я, запасшись необходимыми бумагами до Москвы, поехал в Харьков, где обещали меня устроить на дело мои знакомые. В Петрограде становилось голодно, а в деревню уезжать не хотелось. В Москве я жил с неделю, раньше чем выбраться в Харьков, так как на Курском вокзале висело объявление:

«Граждане! Железные дороги в катастрофическом состоянии – всяк, кто приехал в какой-либо город, должен жить тут и ждать лучшего времени».

Здесь я снова встретился с С.А., он был пайщиком «Кафе поэтов» на Тверской. Тут собирались многие поэты и беллетристы. Петр Орешин, Ширяевец и С.А. провожали меня до дому, где я жил, но где, с кем и как жил С.А., я так и не знал и у него на квартире не был. Добыв нужные бумаги, я уехал в Харьков. В Харькове были красные, после моего приезда через

месяц они ушли – пришли белые. Письма из Москвы перестали приходить, и вообще прекратилась всякая почта. Деньги – которые пришлось менять на деньги белых с большим убытком – у меня вышли, я пошел на фабрику, стал варить мыло.

В городе издавал газету Суворин-сын, и я плюнул, перестал писать. Писал для себя.

Приехал я весной, а поздней осенью по заморозкам белые ушли – пришли красные. Стали распределять продукты, и хлеб стал дороже.

Вскоре меня избрали, без моего ведома, Предгублиткома. Я скучал в Харькове, хотелось обратно, но обратно ехать было страшно – в вагонах был сильный тиф. Ехавшие часто заболевали в дороге – я ждал случая. Весной 1920 года в Харьков в своей теплушке приехал на полиграфический съезд А. Сахаров, приятель С.А. С ним вместе – Есенин и поэт Мариенгоф, с тем чтоб пожить, подкормиться – в Москве был голод. Здесь они решили дать «вечер стихов» или два-три, смотря по приему у публики. Я очень обрадовался Есенину, от него узнал о Москве, и, хотя там был голод, все же меня тянуло обратно с юга. Сахаров, с которым я познакомился, тоже был очень милый и простой человек. Они жили втроем в одной комнате; я часто заставал их хмельными и веселыми. Пил ли Мариенгоф, того не могу сказать. С.А. с Сахаровым пили. С ними я и решил уехать из города, который мне крайне надоел.

Но меня не отпускали – велели найти заместителя; таковой, к моему удовольствию, нашелся: профессор Ив. Ив. Гливенко. Я взял пропуск через Южфронт и билет. Есенин обратился ко мне как председателю литкома, от которого зависело разрешить вечер имажинистов, и я разрешил. Вечер порешили устроить на Сумской улице в Большом Харьковском театре. Поэты за три дня выставили плакаты у входа в театр. Публики набралось очень много. К началу вечера пришел и я. Сидел за кулисами, слушал и удивлялся. Мне показались странными две вещи.

Их импресарио из бывших актеров провинциальных театров, очень развязный, не старый и пестро одетый человек – он ходил поперек сцены с толстой тростью в руках, и если в публике кричали с озорством, то останавливался, задирал голову и отвечал задорно:

– Тише-е! Или мы тоже умеем скандалить!

Второе – Мариенгоф выпирал на сцену тощего Велимира Хлебникова, а тот, упершись и скорчившись, никак не хотел выходить; когда выперли, вышел, но декламировал так, что его никто не слыхал.

Вышел Сергей Александрович и зычным голосом начал.

Стихи его были хаотичны, но в них был талант, чувствовался поэт и были красочные пятна. За ним вышел Мариенгоф. Этот, умышленно или нет, декламировал такое, что ни в какой мере к стихам не относилось. Помню одну его строчку:

Я пришел к тебе, милая, в новых подштанниках!

Оба они, Сергей Александрович и Мариенгоф, были одеты очень прилично, а потому контраст костюма и слов был большой. На сцену полезли люди в галифе и френчах, начали кричать:

– Где председатель литкома, чего он смотрит?! Это безобразие!

Я вышел:

– Мы не полицейские старого времени, чтоб взрослых людей тащить за шиворот от театра, и кроме того, я уверен, что завтра же половина людей, сидящих в театре, будет говорить, что «вечер был интересный»!

Ушел и послал своего секретаря Перцева. Он успокоил публику простыми словами:

– Кому не нравится – тот уйдет! Чего же кричите?

И я был прав.

На другой день, будучи в музкоме и иных смежных с нами учреждениях наробраза, слышал, как многие приходящие люди и служащие говорили:

– Очень интересный был вечер, стихов хороших читали много!

Сергей Александрович, недовольный вечером, ворчал:

– Хлебников испортил все! Умышленно я выпустил его первым, дал ему перстень, чтоб он громко заявил: «Я владею миром!» Он же промямлил такое, что никто его не слыхал.

Больше они не выступали, и решен был отъезд. В день отъезда я собрал свои пожитки, приехал на вокзал, но их теплушки в составе не было. Сцепщик сказал мне:

– Теплушка была в составе вагонов, но ее выключили – никто не явился.

Я ждал долго и даже хотел уехать один. Приятель-журналист, взяв мои бумаги, выхлопотал, чтоб меня приняли в почтовый вагон. Когда он шел, гордо махая разрешением, поезд перед нашим носом двинулся и ушел… Я остался.

Поздно явились Сережа с Сахаровым, журналист накинулся на них за меня с упреками, что «обманули человека!».

Они велели снести мои вещи в их теплушку знакомому железнодорожнику, я с ними пошел без вещей и очень боялся, что останусь, растеряв все; они успокоили:

– В теплушке живут наши люди!

Тот же журналист свел меня в свою свободную комнату в

какой-то еврейской семье – мы очень торопились, так как ходить по городу без пропуска можно было лишь до 9 вечера, мы же просидели в кафе до 11/2. На наше счастье, никто не спросил пропуска, и мы добрались до квартиры. Старухи еврейки сидели на кухне одетые, было холодно, город сильно нуждался в топливе. Журналист пришел, меня впустили в комнату, я ночевал в чужом месте. Утром явился на старую квартиру и ночевал у себя. Очень боялся, что ради роскоши выпивки Сережа с Сахаровым загостятся в Харькове долго и мне придется жить без самого необходимого, но через двое суток они решили поехать – я пришел к ним, наняли извозчиков, и все вместе приехали на вокзал. Я влез в теплушку первый – там нашел все свои узлы. Помню, как сели и пили коньяк. Я был рад, что уезжаю со своими людьми и что заградительные отряды не будут нас беспокоить. В дороге Сахаров прочел мою книжку рассказов «По звериной тропе», сказал:

– Не нравится мне! У вас с Сережкой много общего – у него в стихах, у вас в прозе.

Я, помню, ответил:

– Общее то, что у нас мало рационализма, по которому скучаете вы!

Не доезжая до Москвы на одну станцию, я пересел в другой вагой особого назначения, с тем что вагон пойдет до Петрограда. Теплушка полиграфического отдела шла до Москвы. Тут мы растерялись надолго.

Я приехал в Петроград, встретил первое – страшный голод; на моих глазах, когда я проходил мимо Петропавловской больницы Петроградской стороны, вывезли, один за одним, девять гробов. На Невском – пустыня, дохлые собаки и лошади, набросанные бумаги ветер передвигал с места на место, заменяя дворника.

Я работал в Пролеткульте с Садофьевым и Машировым, у них взял командировку на родину и с 1920 по 1922 год жил в деревне. Прочел в газетах, редко попадавших в северную глушь, что «Сергей Есенин женился на Дункан». В апрельской-майской книжке 1922 года журнала «Красная новь» был напечатан отрывок из моей повести «На лебяжьих изерах», мне прислали деньги, и я приехал в Петроград – тут я узнал, что Сергей Александрович Есенин и Айседора Дункан улетели на аэроплане в Берлин.

Как-то летом 1924 года мне сказали, что С.А. приехал в Ленинград, живет у Сахарова на Гагаринской; я пошел туда, застал его еще в кровати, компания, окружающая его, за исключением поэта Эрлиха и еще немногих, была пьющая. С.А. обрадовался мне, заговорил о том, что будет вечер его стихов в городской думе, – я пробыл с ним весь день, а вечером все – кто

пеше, кто на извозчике – явились в кафе «Двенадцать» на Садовую улицу. Там были устроители вечера – от них я получил контрамарку на вход в зал думы. В день «вечера стихов» публики собралось много. Я прошел в артистическую; тут было несколько друзей Сергея Александровича и сам он, сильно хмельной. Его поили сельтерской, выход затянулся. Публика требовала поэта. Я вышел, сел на свое место. Вышел наконец и С.А. с приятелями-поэтами; помню только двоих, Ричиотти и Эрлиха. С.А. начал длинно, очень спутанно, с повторениями рассказывать, как он приехал в Петербург и с кем был первое время знаком, рассказывал, что на нем были мужицкие сапоги и штаны – «а теперь? теперь я хожу часто во фраке!». Упоминал Клюева, меня, Всеволода Иванова. Я давно заметил, еще при входе в зал, что в публике были люди, желающие скандала, желающие сорвать вечер, и подумал, что здесь С.А. атмосфера враждебна. Эти люди, пользуясь случаем, что лектор пьян, начали кричать:

– Граждане, чего мы сидим и слушаем болтовню пьяного? Уйдем все!

Публика, желающая слышать поэта, ответила:

– Чего кричите? Надо вам, так уходите, не мешайте!

Человек пять-шесть демонстративно уда лились.

Сергей Александрович вскочил на стул, стал декламировать стихи, и я удивился.

Он был совершенно трезв, четко и ясно произносил каждое стихотворение, и память ему ни на минуту не изменяла. Помню, что среди других стихов декламировал он «Любовь хулигана» и вообще всю «Москву кабацкую». Кончился вечер очень хорошо – С.А. окружила молодежь и всякие люди из публики, он в полумраке встал на ящик, без конца читал на «бис». Его окружили так тесно и густо, что я ушел, не мог проститься с ним, высказать ему мое восхищение. Он прошел на улицу и уехал в кафе. Я в кафе не пошел. На другой день в вечерней газете появилась заметка:

«Лекция хулигана Есенина: будучи в пьяном виде, лектор обругал публику непечатными словами, и почти все, кто был, оставили зал!»

Умышленно грубое и явное издевательство. Знаю, что Садофьев пошел по этому поводу объясняться; ему сказали:

– Рецензент был неопытный, мы написали бы порезче и более ругательно!

Не назову имен, но когда мне приходилось говорить с людьми крупными в общественном и политическом мире, то всегда эти люди ругали С.А. Я знаю, что в Москве один лишь А.К. Воронский относился к поэту любовно и доброжелательно.

От Сахарова С.А. переехал в тот же дом в другую квартиру, а когда пришел я, он говорил:

– Снял две комнаты, буду здесь жить и работать!

Служанка, родственница хозяина, простая деревенская женщина, говорила мне:

– Когда у С.А. деньги, то кажинный день свадьба!

И видел я, что работать С.А. не будет. Если не было денег, он скучал, шел добывать их, а добыв деньги, пил.

Один раз меня порадовало, что против обыкновения Сергей Александрович дома, никуда не собирался. Люди пришли не с тем, чтоб пить, а просто провести вечер. Пришел Сахаров с женой, Ричиотти, Эрлих и еще кто-то, кого не помню. С.А. декламировал стихи, Сахаров пел частушки. Тот вечер я вспоминаю как лучший, проведенный вместе с С.А., когда он был, как в давние годы, настоящим поэтом, и никем больше.

Так прожил Есенин с Пасхи до конца июня месяца 1924 года. В июне я пришел к нему по его приглашению.

– Уезжает в Вытегру Клюев, пойдем его провожать!

Вечером пришли ребята с выпивкой. Я боялся, что С.А. загуляет и не пойдет, но на этот раз он слегка подпил. По темноте мы вышли с ним на Воскресенскую набережную за Литейным проспектом. Отыскали пароход и каюту, но Клюева еще не было. С.А. сказал:

– Пойдем в буфет и выпьем!

Мы с ним полезли через канаты, неразобранный груз, узлы и бочки, нашли какое-то окно, где нам дали пива. Потом, выйдя, мы долго ходили по темной набережной. С.А. сказал, что уезжает ненадолго в Москву, а оттуда на Кавказ. На пароход пришел Клюев – мы сидели в его каюте, потом пошли к Литейному мосту и к Летнему саду. С.А. повел нас на летнюю пристань в буфет. Было уж поздно – я простился, не пошел на пристань. Они остались сидеть вдвоем. После, когда вернулся из Вытегры Клюев, я спрашивал его, как они провели время.

– Хорошо! Сережа много читал хороших стихов, пили немного.

После отъезда Клюева С.А. уехал в Москву; я же думал: «Вернется с Кавказа, приедет в Ленинград, и я увезу его на Север – природа вылечит от загула. Будем ходить по лесу, спать в лесных избах, а в деревне водки и хмельного нет».

Мне сказали, что С.А. приехал в Ленинград. Это было в 1925 году. Я знал, как обычно, что ко мне он не зайдет, не ждал и думал: «Пусть устроится, а я приду и позову в деревню».

Прошло два дня, как приехал он, и как-то вечером, у знакомых сидя, принесли вечернюю газету – на первой странице

крупно было напечатано: «Сегодня умер поэт Сергей Есенин.

Я поехал в гостиницу «Англетер»: там жил Устинов, у которого я бывал. Утром было, спросил:

– Где Сергей?

– В Обуховской.

Вскоре стали собираться молодые писатели и поэты. Потом я был у художника Мансурова, который сопровождал труп поэта и в прозекторской делал с него эскиз, спрашивал. Были слухи, что болен С.А. нехорошей болезнью.

Художник сказал:

– Пустяки! Я видел его еще не резанного – тело крепкое и красивое, тело здорового человека, и даже не было следов, что пил он, – неизношенный человек.

Кто-то написал после смерти Есенина, что его стихи «плодят хулиганство: «Москва кабацкая» и прочее».

Перед тем как начать печатать мои работы, я несколько лет ходил по постоялым, спал и на Горячем поле, и за Нарвской заставой зимой в стогах соломы, в Вяземском доме – в стеклянном и банном флигелях, я искал героев и типов среди хулиганов и босяков. У меня есть несколько тетрадей их изречений, частушек, стихов и прозы – и все же твердо знаю, что, несмотря на сочинительство и стихи вроде этих:

По столичным тротуарам
Скучно обувь обивать,
Но еще того скучнее
В доме Вяземского спать.
Грязь и вонь, народу кучи,
Так шумят – гляди, погром,
А махорки дым вонючий
Разливается кругом, —

все-таки эти люди чужих стихов не читали, не любили. Читая прозу, дойдя до описаний природы, говорили:

– Кинь это! Поезжай дальше, туда, где говорят.

Они читать любили похождения сыщиков или романы вроде «Петербургских трущоб» Крестовского, «Цыгана Яшки» и тому подобных.

Еще прибавлю то, чем начал: Сергей Александрович Есенин был самобытный талант и ум. Не желая дольше истекать кровью в Вомитории жизни, он гордо плюнул в лицо ей и ушел.

14 ноября 1926

Степан Гаврилович Скиталец Есенин

Весной девятнадцатого года в разгар революции я выбрался из глухой провинции в Москву, и мне удалось временно поселиться в бывшей гостинице «Люкс» на Тверской, в которой и прежде останавливался. Теперь это была уже не гостиница, а общежитие для работников какого-то учреждения под управлением «коменданта», но администрация оставалась прежняя, смотревшая сквозь пальцы на проживание там своих прежних «гостей».

В соседстве со мной жил молодой человек, мой приятель из начинающих литераторов, в то время искренно веровавший в коммунизм и революцию: еще не изжито было настроение февральских дней. По вечерам я часто заходил к нему и всегда наталкивался на кого-нибудь из новых писателей.

Однажды я застал у него юношу лет двадцати четырех, блондина среднего роста, с коротко постриженными, густыми вьющимися волосами и синими глазами, смотревшими застенчиво и несколько исподлобья. Одет он был прилично и, судя по отрывку разговора, занимался писательством, упоминая о своей книге. Фамилию его я пропустил мимо ушей – она мне ничего не говорила. Он скоро ушел, обещавшись зайти вечером.

– Кто это? – спросил я.

– Есенин – известный поэт! Не читали?

– Нет.

– А вот у меня на столе его книжка!

Я развернул маленькую книжонку и прочел первое стихотворение: оно, против ожидания, понравилось мне.

Увлекся и прочел всю книжку: о революции там почти ничего не было – больше о деревне и деревенской природе, о жеребенке, пытающемся обогнать экспресс, о грустном клене, стоящем «на одной ноге», запомнился один яркий и сильный образ:

По небу бежит кобылица:
Шлея на ней – синь,
Бубенцы на ней – звезды!

– Талант несомненный! – сказал мой приятель. – Резко выделяется из всех нынешних: у них природного-то крупица, а у него – во! охапка!.. И все-таки марксисты относятся к нему

отрицательно – нет марксистского подхода! Вот, например, за сочувствие этому жеребенку ему здорово наклали! А с другой стороны – есть у него и такие стихи, как «Господи, отелись!» … возмущает интеллигенцию!.. Выражение слишком смелое, а если разобрать стихотворение – то по мысли оно хорошее тучи у него там, как стадо коровье, пусть, дескать, прольются… Вера в плодотворность революции! Но за это «отелись» ему от публики попало… Большевики же определили как поэта мелкобуржуазного и не хотят издавать. Ну, да он сам издается!.. Есть тут кружок имажинистов – так он с ними! Ловкий народ: у Госиздата нет бумаги, а у них – сколько угодно!

– А что такое имажинисты?

– Школа такая… нынче школ этих много! Все больше насчет техники: имажинисты желают писать исключительно одними образами!.. Говорить-то хорошо, так для этого талант нужно, а иначе ерунда выходит! Есенину ничего бы этого и не надо, природный талант, а ребята эти его только зря с пути сбивают!

Помешаны еще на саморекламе в подражание Маяковскому: дескать, надо устраивать скандалы, тогда только и обратят внимание, а иначе, мол, не прославимся, публика – дура, в стихах все равно ничего не понимает! Вот он в это и уверовал!.. Посмотреть на него – сами видите тихоня, деревенский паренек, ему бы в деревне с девками в хороводе плясать, а его тут в имажинизм втянули, как ни устроят вечер – так скандал с мордобоем на эстраде, публика-то валом валит!.. Революцию они понимают тоже по-своему: прочесть неприличные или кощунственные стихи с эстрады, изругать Бога – это считается революционным! Он и начал с ними куролесить! Недавно написал дегтем на стенах Страстного монастыря неприличнейшее кощунство!.. Я уже его стыдил – да чего! Только ухмыляется – дескать, не понимаете вы нас, имажинистов! По-моему – вредная для него компания. Напускное все это, на самом-то деле – скромный парень, а вот революция выворачивает людей наизнанку!

Вечером у соседа собралась небольшая компания: пришли две его знакомые барышни, а потом явился и Есенин. За чаем они пели его стихи на мотив какого-то романса, а потом попросили поэта декламировать. Есенин охотно согласился, встал в позу и очень хорошо прочел наизусть несколько своих стихотворений. Голос у него был приятный, звонкий, читал он с искренним увлечением, без лишних жестов, с природным чувством меры. В чтении чувствовался пылкий темперамент, заметна была артистическая жилка, даже некоторое уменье выразительно декламировать и держаться как на сцене. Было что-то красивое в

этой сценке картинной декламации стихов пылким молодым поэтом перед хорошенькими поклонницами. Действительно, и стихи были хорошие, и поэт оказался хорошим декламатором. В его чтении стихи много выигрывали. Я сказал ему это.

– Да ведь я все-таки был немножко на сцене! – возразил он. – Много участвовал в любительских спектаклях, даже в малорусских пьесах героев-любовников играл!..

В завязавшемся разговоре Есенин упомянул, что он из крестьян, что дед его довольно зажиточный мужик, учился в сельской церковноприходской семинарии, некоторое время был, кажется, сельским учителем. Разговор скоро перешел в спор между Есениным и моим соседом, конечно, о большевиках и революции. Говорить Есенин не умел, мысли свои выражал запутанно и очень горячился. Оставил впечатление захолустного сельского учителя, малообразованного, но искреннего и пылкого юноши. Кричал, что он «левее» большевиков и только поэтому против них. Вообще же, проявил поэтическое отвращение к логике и большое пристрастие к парадоксам и гиперболам. Он спорил с поклонником большевиков и представлял из себя забавную оппозицию, нападая на них «слева». Все это было по-юношески несерьезно. Поэт рассуждал плохо, мысли его были еще не ясны ему самому, зато весь он был во власти пылких чувств.

Не есенинское было дело – рассуждать о политике, но как же избежать этого в разгар революции, когда даже обыденная, повседневная жизнь неизбежно оказывалась политикой, когда в воздухе стоял угар всеобщего безумия, все люди казались ненормальными, вся Россия бредила, и всюду раздавалась проповедь бредовых идей, казавшихся проповедникам легко осуществимыми. Говорили, что для счастья человечества нужно отрубить всего только два миллиона чьих-то голов, и действительно головы валились, и говорили это не только кровожадные люди, а и просто легковерные, легкомысленные мечтатели. Говорили об отмене денежной системы и немедленном введении социализма, о всемирной литературе на международном языке, об электрификации всего мира, о мировой федерации, обо всем – в мировом масштабе. Все казалось возможным, как со сне, в сказке или сумасшедшем доме. В нормальное время даже настоящие сумасшедшие в горячечных рубашках не говорили бы того, что говорилось тогда всюду. Все авторитеты были свергнуты, мания величия свирепствовала, как повальная болезнь. Поэт Маяковский серьезно оскорблялся, когда льстецы сравнивали его с Пушкиным: он считал себя выше. Мудрено ли, что даже от природы скромный и застенчивый, но очень талантливый Есенин тоже считал себя выше Пушкина: поэт

мыслит образами, но Есенин, как имажинист, пишет ими: у Пушкина – два-три образа на странице, но у Есенина в каждой строке – образ: кто же выше? Так рассуждал Есенин, повторяя, по-видимому, чьи-то чужие, не свои слова.

«Говорят, я скоро буду самый лучший поэт!..»

И он действительно был лучшим из всех этих имажинистов, футуристов, акмеистов, поголовно считавших себя гениями: ниже гения у них не было ранга.

После чая мы всей компанией отправились в тогдашнее литературное кафе «Домино», хозяевами которого были имажинисты, где каждый вечер исполнялась музыкально-вокальная программа с их выступлением в конце. «Домино» это находилось в маленьком помещении на Тверской, пройдя Камергерский переулок. На углу Камергерского Есенин остановил нас и, застенчиво ухмыляясь, сказал:

– Прочтите новое название!

На углу вместо прежней надписи была прибита свеженаписанная: «улица Есенина».

– Это я сам нынче утром прибил! Еще не сняли!..

– Ну зачем? – укорил его приятель: ведь это же деревенское хулиганство!

Но Есенин, по-прежнему ухмыляясь, только махнул рукой: ему казалось, что мы не понимаем его революционно-имажинистского «протеста» против чего-то или кого-то. Бедный юноша!..

В двадцать первом году я встретился с ним на заседании «пролетарских писателей» в «Лито» (литературный отдел).

Он по обыкновению был одет франтом, но выглядел мрачно. Долго молча слушал «пролетарские» речи и наконец попросил слова. Все насторожились: к этому времени за Есениным уже упрочилась слава профессионального скандалиста.

– Здесь говорили о литературе с марксистским подходом! – начал он своим звенящим голосом. – Никакой другой литературы не допускается!.. Это уже три года! Три года вы пишите вашу марксистскую ерунду! Три года мы молчали! Сколько же еще лет вы будете затыкать нам глотку? И на кой черт и кому нужен марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет!..

Кругом засветились улыбки: чего же и было ждать от Есенина, кроме скандала? Это его манера, его конек. К нему относились несерьезно, как к чудаку или немножко ненормальному.

Вскоре после этого Есенин в пьяном виде пытался броситься с четвертого этажа, с балкона на мостовую, но его удержали

друзья-имажинисты.

Потом он улетел на аэроплане со старухой Дункан в Берлин, и с этого времени началась его скандальная слава «в мировом масштабе». Пил и скандалил во всех столицах мира. По возвращении женился на внучке Льва Толстого, но быстро спился и опустился. Пьяный скандал с постоянным сквернословием всюду сопутствовал ему. Ничего не осталось от прежнего застенчивого деревенского юноши.

Советская пресса не объясняет поводов к его страшному самоубийству, но говорят, что не материальная нужда была тому причиной. Лучшим объяснением тяжкого душевного состояния в предсмертный период служат последние стихотворения Есенина, поражающие искренним чувством отчаяния испакощенной, загрязненной души, растоптанной «буднями революции», омраченной всеобщим цинизмом советского быта.

Он то Зиновьева в стихах зачем-то восхвалял и славословил, то в кабаках спьяну ругал «жидов» и «жидовское засилье».

Известно, что запойные пьяницы умирают не во время опьянения, а после, во время похмельных страданий, если им не дадут вновь опьяниться. Экспансивный, пылкий поэт был опьянен началом революции, но когда в конце ее он сделался пьяницей и скандалистом – то это было уже тяжелым и мучительным отрезвлением, мрачной тоской безнадежного похмелья, которого он и не вынес.

1926

Николай Николаевич Захаров-Мэнский
Только несколько слов…

Русское зарубежье о Сергее Есенине. Антология. – М.: Терра – Книжный клуб, 2007.

То, что мне хочется сказать сегодня, отнюдь не является ни исчерпывающими воспоминаниями современника, ни критическим очерком внимательного исследователя, отнюдь, это только несколько слов, несколько слов о человеке, любившем и любимом, страдавшем и надеявшемся, всю жизнь страстно мечтавшем о славе и нашедшем ее, увы, только после смерти и только на один год. Сейчас этот год, год беспримерной популярности Есенина, окончился, и я не буду пророком, если скажу здесь, что ближайшие 365 дней будут низведением с пьедестала этого во многом переоцененного, но все же исключительного и неповторимого лирика последнего десятилетия. Появившийся в № 1 и 2 «Красной нивы» рассказ В.В. Вересаева («Собачья улыбка»), понятный даже и для непосвященного, – несомненное доказательство правильности моего утверждения.

Странна была судьба Есенина. Целый год мы жили под каким-то гипнозом этого имени, сотни поэтов посвятили ему стихотворения; неразумные подражатели кончали самоубийством, повторяя его стихотворения; о нем, о котором при жизни было написано только несколько статей, написали тома; критики переспорили друг друга на диспутах, доказывая то, что для всякого и без них было понятно и ясно; Приблудные, Ковыневы, Наседкины – «ты их имена, Господи, веси» – перепели его стихотворения; барышни, никогда не читавшие Есенина, влюбились в его фотографию, и даже обыватели, которым решительно все равно, что кругом них происходит, читающие Шеллера-Михайлова, Вербицкую и Арцыбашева, даже они со злорадством произносили имя Есенина: «Вот, мол, тебе, Советская власть, и кукиш с маслом». При чем тут, собственно говоря, был кукиш и при чем Советская власть, так, в сущности, и осталось невыясненным, но факт остается фактом – даже они заинтересовались Есениным и упивались безграмотнейшей подделкой под него – «Письмом к Д. Бедному», от которой бы до ушей покраснел бедный Сережа. А сколько появилось его друзей, приятелей, товарищей?! Всякий, с кем Сергей выпил бутылку

пива или кого матерно выругал в пьяном виде, стал писать о нем воспоминания: Есенин, мол, сказал – «ты да я, умрем»… – и т. д. и т. д. Уже на первом вечере его памяти в Камерном театре, куда сошлись все так хорошо знавшие и так любившие его как человека, какой-то разбитной юноша читал о нем безграмотное стихотворение, в котором так больно резало – «Сережка… Гармошка…». Каким бы матом огрел Сергей этого юношу! Откуда-то из всех нор повылезла прятавшаяся там пошлость – и ну делить посмертную славу покойного… Кто только о нем не писал, что только о нем не писали… И как бы эпиграфом выходкам всех этих ругателей и хулителей – десяток книжечек А. Крученых; и как бы эмблемой ко всему этому – никому-никому не ведомый в литературе и искусстве юноша, который играет первую скрипку на всех юбилеях и похоронах знаменитостей, с которыми (как, например, с Есениным) едва ли был знаком при их жизни.

Я не был ни близким другом, ни закадычным его приятелем. И в жизни, и в литературе мы шли с ним разными дорогами, но мне привелось в продолжение семи лет, часто почти ежедневно, часто с большими или меньшими перерывами, наблюдать дни и дела Сергея. Мы встречались в семнадцатом году в «Кафе Четырех Бурлюков у Настасьинского переулка», как всегда называли «Кафе поэтов» (Бурлюка, Гольцшмидта, Маяковского и Каменского), в помещении бывшей прачечной на Тверской в Настасьинском переулке, рядом со зданием ломбарда. Здесь, по ночам, мы читали стихи, пели и говорили об искусстве… Хорошее было время. Бывало – на Тверской стрельба и ходят патрули, на Дмитровке в Купеческом клубе подвизаются анархисты, а мы слушаем «Облако в штанах» в неподражаемом исполнении самого Маяковского, острое слово об искусстве умнейшего Давида Бурлюка и горланим песенку кафе:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!..

Здесь я познакомился с Есениным. Он часто бывал в кафе. Приходил с С. Клычковым, садился в угол к стене, почти всегда молчал (говорить Сергей вообще не умел да и не любил) и только изредка читал, и как всегда прекрасно, свои стихотворения. Сергей читал не по-актерски, но тот, кто слышал его самого, не захочет слушать его стихи в исполнении даже самого раззнаменитого артиста. О нем говорили – приличный поэт, подает надежды, и только… Помню, когда приехал Ивнев, какой знаменитостью он показался нам, молодежи, как он совершенно затмил Есенина. Не говоря уже о И. Северянине, которого

торжественно чествовали футуристические киты, даже К. Липскеров, С. Рубанович, даже Влад. Королевич были в то время и популярнее и известнее Есенина. Через год открылся Союз поэтов в кафе «Домино», на Тверской, 18. Мы с Есениным были выбраны в один из первых президиумов. Заседаний Сергей не посещал, и вообще, как и всякий большой художник, он был никудышным общественным деятелем. Это было время расцвета имажинизма. Помню номера «Советской страны», где впервые появилась декларация и мариенгофовские «подштанники»; самого Мариенгофа, прилизанного и любезного, которого наборщики неуклонно переделывали в «Марлингофа» на афишах союза; Кусикова в феске и с Георгием в петлице; в то время вершителя судеб союза – Шершеневича… В союзе Сергей выступал очень часто, почти ежедневно; книжки его, выпускаемые Артелью художников слова, с смешной датой «II год I века», а впоследствии комическими издательствами «Чи-хи-Пихи» и «Имажинисты», – всегда были для нас, молодежи, большим праздником. Подарив мне одну из книг, он подписал: «Милосердной сестрице русских поэтов» (я был в то время секретарем союза), и так меня звал Сергей до самого последнего времени. Не помню я ни дебошей Сергея в это время, ни пьянства. Все это пришло после, главным образом после знаменитой поездки с Айседорой Дункан. Сергей участвовал и во всех больших выступлениях союза. Вечера эти обычно устраивались в Политехническом, в большой аудитории № 1. Сюда-то когда-то они с Мариенгофом и явились в цилиндрах, и здесь-то и разыгрался инцидент, не раз рассказанный многими вспоминателями, когда В. Брюсову пришлось утихомиривать взбунтовавшуюся против Есенина публику. А сколько триумфов его помнит эта аудитория. Помню я и пресловутый суд над имажинистами, и альманах № 1 со стихами Есенина, и многое-многое другое… Потом – его сближение с Дункан. Что было между ними общего? Я не раз задавал себе этот вопрос и всегда отвечал – «имя». И он и она – «знаменитости». Не мог Есенин быть мужем простой смертной, подавай знаменитость, подавай шумиху в газетах, поездку в Берлин на аэроплане, в Америку; мне рассказывали, что где-то они на русской тройке из одного государства в другое жарили; триумфы, чудачества, пьянство. Мне рассказывали, что остроумнейший из белогвардейских поэтов Л.Г. Мунштейн (Lolo) так встретил приезд этой четы в Германию стихотворным приветствием в «Руле»:

Не придумаешь фарса нелепее.
Вот он, вывоз сырья из Совдепии —

Вот восторг образованных стран,
С разрешения доброго Ленина
Привезла молодого Есенина
Не совсем молодая Дункан!..

Потом он вернулся: как-то сразу осунувшийся, как-то сразу постаревший и другой. Мы встретились в «Домино», я возился в то время с вечером в пользу голодавшего Спиридона Дрожжина. Сергей страшно заинтересовался судьбой старика: «Ты бы, милосердная сестрица, сборник, сборник бы надо, я стихи дам… Что вечер… вечер провалится, не соберешь ничего…» Вечер действительно, несмотря на участие всей литературной Москвы, провалился: публики было до обидного мало.

Потом пошли тяжелые встречи. Мне не хочется вспоминать о них, к чему?.. Пресловутое дело «четырех поэтов», два суда – в ЦБ и в Доме печати; кутежи, пьянство, дебоши, скандалы. Кто не знает всего этого? Милиционер на похоронах и тот говорил мне: «Поэта Есенина мы хорошо знаем. Нам и товарищ комиссар заказал, коли, мол, пьяного поэта Есенина приведут, так гоните скорее, с ним хлопот не оберешься…» Я был свидетелем многих скандалов Сергея. Бывало, дежуришь по клубу Союза поэтов и только Бога молишь, как бы Есенин после часу ночи не приехал. Один его дебош – драку с Б. Глубоковским – я и теперь с ужасом вспоминаю. Ночь, в кафе пьяная публика, и Сергей, с разодранной рубашкой, кричит что-то несуразное, пьяное, больное; Глубоковский, замахнувшийся стулом, тоже пьяный, под кокаином, а перед Сергеем бросившийся на колени, протягивающий какую-то икону и вопиющий: «Сереженька, во имя Бога!..» – Клюев. Нет, не хочу вспоминать… Только пьяный угар и невменяемость могли довести до такого состояния этого хорошего, милого кудрявого поэта. В последний раз я видел его за несколько дней до смерти, в кафе «Капулер». Он шел в кино с С.А. Толстой и сестрой Катей. Если не ошибаюсь, они шли на «Михаэля» – превосходную инсценировку романа Банта. Это снова был прежний Сережа, тихий и милый, грустный немного, и эти полчаса, проведенные с ним в последний раз, останутся навсегда для меня дорогим воспоминанием. Потом эта смерть и стихотворение, такое непонятное… То ли это розенкрейцерство, которым будто бы интересовался Сергей, ведь чем же иным можно объяснить слова:

В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей…

То ли?!! Нет, нельзя догадываться о том, что укрыто завесой смерти, не будем… Но что меня всегда удивляло, так это приписываемый Сергею атеизм; критики наперебой хотели доказать, что Есенин отказался от религиозности своих первых книг. Думается, что это не так, и вот пример: едва ли многие знают, что умерший поэт А. Ширяевец, который был погребен по гражданскому обряду, перед этим, и при ближайшем участии С. Есенина, был отпет священником с соблюдением всех церковных обрядов. «Венчик мы ему под подушечку положили, – радостно рассказывал Сергей. – Поп спрашивает, почему красный гроб, а мы говорим – поэт покойный был крестьянским, а у крестьян: весна красная, солнце красное, вот и гроб красный…» Мне кажется, эта несомненно бывшая у Есенина вера во что-то загробное много(е) объясняет и освещает и в его творчестве, и в обстоятельствах его смерти. Впрочем, кому дано разгадать вечную тайну жизни и смерти? Этот год будет годом его развенчания, хоть и не пророк я – пророчу… а потом – потом, когда мы сможем беспристрастно подойти к его поэзии, мы, быть может, оценим по заслугам этого незабываемого лирика ярчайших лет, пережитых Россией. А пока «до свидания, друг мой, до свидания»; пусть твои слова закончат эти несколько строк человека, который всегда считал твою поэзию лучшим достижением литературы эпохи Великой Русской Революции.

1927

notes

Примечания

1

Леонид Иоакимович (Акимович) Канегиссер (1896–1918), петербургский начинающий поэт, дружил с Есениным.

2

Квази *(лат.)* – как будто, мнимый.

3

Помета А. А. Блока на записке Есенина.

4

Рекомендательное письмо М. П. Мурашеву.

Городецкому. Рекомендательное письмо А. А. Блока к нему не сохранилось.